
Встречи у Фадиных

10 лет русскому литературному салону в Берлине

Антология

Берлин - Мюнхен · 2011

Содержание

- 6 Приветствие EXIL-PEN
- 8 Приветствие Русского ПЕН-Центра
- 9 Введение

Фадины

- 13 Беседа с Анной Перчёнок-Фадиной
- 16 Вадим Фадин. *Стихи*
- 20 Вадим Фадин. Пейзаж в окне напротив. *Рассказ*

Участники литературных собраний: берлинцы

- 30 Сергей Гладких. *Переводы* (Ольга Седакова)
- 35 Дмитрий Драгилёв. *Стихи*
- 40 Борис Замятин. *Афоризмы. Рассказы*
- 50 Татьяна Зажицкая. Кари. *Отрывок из воспоминаний*
- 62 Александр Лайко. *Стихи*
- 68 Иосиф Малкиель. Портрет вне интерьера. *Эссе*
- 72 Татьяна Нелюбина. Potsdamer и потсдамцы. *Отрывок из романа*
- 85 Борис Рохлин. *Рассказы*
- 93 Елена Тихомирова-Мадден. Анна Альчук и «классическая традиция». *Эссе. Рассказы*
- 99 Дмитрий Хмельницкий. Три писателя. *Эссе*
- 108 Ильзе Чёртнер. *Переводы* (Марина Цветаева, Борис Пастернак)
- 114 Борис Шапиро. *Стихи*
- 119 Сергей Юриздикский. *Интервью Марине Тимашевой*

Участники литературных собраний: гости из Германии, России и других стран

- 128 Андрей Битов. Эмиграция как оскорбление. *Эссе*
 - 137 Светлана Василенко. Русалка с Патриарших прудов. *Рассказ*
 - 145 Лариса Володимирова. Берлинский Парнас (частное мнение). *Эссе*
-

- 155 Нина Воронель. Розы. *Рассказ*
163 Александр Воронель. Начало и конец. *Эссе*
168 Наталья Генина. *Стихи*
173 Виктор Ерофеев. Литературный передвижник. *Эссе*
177 Вячеслав Куприянов. *Стихи*
183 Александр Люсый. Лаокоонград, или Стамбул с невидимыми змеями. *Эссе*
193 Александр Мелихов. Новые Гоголи. *Эссе*
198 Вадим Месяц. *Стихи*
203 Андрей Рево. *Стихи*
208 Евгений Рейн. *Стихи*
213 Юрий Ряшенцев. *Стихи*
218 Людмила Улицкая. Они жили долго... *Рассказ*
228 Борис Хазанов. Пардес. *Рассказ*
234 Михаил Яснов. *Переводы французской поэзии*

***Участники Пушкинских поэтических фестивалей: гости
из Германии и России***

- 242 Сергей Бирюков
247 Евгений Бунимович
252 Марина Гершенович
260 Генрих Киршбаум
264 Вера Павлова
269 Вадим Перельмутер
275 Демьян Фаншель
281 Даниил Чкония

In memorien

- 286 Анна Альчук
291 Марина Герцовская
295 Андрей Кучаев
301 Александр Ткаченко



Приветственное послание

Русскому литературному салону по случаю десятилетнего юбилея.

В более чем полуторавековой истории литературных салонов в Европе, русские салоны в Берлине с начала 20-х годов и до прихода к власти нацистов играли значительную общественную и культурную роль. Для эмигрантов из Советского Союза – писателей, публицистов, учёных – это было место, где они были желанными гостями, где проходили чтения, лекции, выставки; процветал оживлённый, часто полемический обмен мнениями. На эту традицию опирались в начале XXI века инициаторы и первые организаторы нынешнего салона Анна Перчёнок-Фадина и писатели Вадим Фадин и Борис Шапиро, заложив основы домашнего русского салона, который с самого начала ассоциируется с Exil-PEN.

Благодаря гостеприимству Фадиных их салон стал важным местом встреч не только для более чем двух десятков живущих в Берлине русских авторов: многие значительные писатели из России, будучи проездом, читали и обсуждали здесь свои произведения. Отсюда вышли важные инициативы по проведению международно признанных фестивалей (таких, как Пушкинские чтения). Не в последнюю очередь были частыми гостями в Русском литературном салоне и члены Exil-PEN.

Салон является активной частью нашего объединения. Множество книжных публикаций русских коллег становились предметом дискуссий и рецензий. В появившейся в 2009 году антологии Exil-PEN представлены широко известные члены русского Салона. Тем радостнее, что выходящая теперь в свет антология наших русских коллег позволит бросить новый, живой взгляд на их художественное творчество. Я с нетерпением жду этого издания, отражающего межкультурный десятилетний опыт присутствия Русского литературного салона в Германии и в Европе. Я желаю участникам Салона в следующем десятилетии ещё большего воодушевления и успеха и от имени Президиума и всех членов нашего Exil-P.E.N. поздравляю их с юбилеем.

Проф. Др. Вольфганг Шлотт
Президент Exil-P.E.N.

От российского отделения Международного ПЕН-клуба –
Русского ПЕН-центра

Участникам собраний Берлинского литературного салона «У Фадиных»

Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с юбилеем Русского литературного салона «У Фадиных». За десять лет своего существования Ваше Собрание способствовало продолжению лучших традиций отечественной словесности и сохранению родного языка и культуры в непростых условиях зарубежья.

Салон сплотил вокруг себя русских писателей и деятелей искусств не только Берлина, но и других городов Германии и стал связующим звеном между литераторами зарубежья и метрополии. Существование Берлинского салона – залог дружбы и творческого общения между Русским ПЕН-центром и ПЕН-центром писателей-эмигрантов в немецкоязычных странах.

Желаю литературному салону «У Фадиных» дальнейшего процветания, а всем участникам его собраний – здоровья, творческой энергии и художественных открытий.

Андрей Битов

Президент Русского ПЕН-центра

начать немедленно, сейчас – и решили первое собрание провести дома у кого-нибудь из присутствующих. «Да хотя бы у Фадиных», – сказал кто-то. И мы с женой согласились, и собрания прошли у нас и раз, и другой, потому что зал виаллы не был готов и к этому другому разу, и наконец собравшиеся сказали, что, наверно, незачем искать чужие помещения: им нравится – здесь. С тех пор так и повелось, что собрания неизменно проводились у нас дома и что мы не только предоставляли место для встреч, но и заботились о их программе – даже составляли её на несколько месяцев вперёд (я, единожды сказав «мы», так и продолжаю, тогда как всё это делала одна только Анна – настоящая хозяйка салона).

Салон сразу приобрёл официальный статус как русский литературный салон ПЕН-клуба: те пятеро писателей, которые, собственно, его и образовали, все являются членами ПЕНА. Собирались же всякий раз не пять, а до пятнадцати-восемнадцати человек: кроме литераторов приходили журналисты, художники, режиссёры, работники кино...

Кто-то пару раз называл этот салон «зелёною лампой» – но нет, у нас было другое. К тому же, сейчас и без того развелось много и «зелёных ламп», и «бродячих собак», часто не обеспеченных надлежащим культурным содержанием, и поддерживать эту моду было бы, наверно, своего рода кошунством, причём – дешёвым. Но следует, конечно, помнить, что из подлинной «Зелёной лампы» начала XIX века, с которой тесно связана литературная юность Пушкина, выросли мы все (в той же, возможно, мере, что и – из «Шинели»...)

Разница в замысле, однако, была существенна. Салон – слово неуютное, хотя раз уж так называли, то пусть будет салон, дело не в этом, создатели петербургской «Зелёной лампы» – те и подавно объявили её просто кружком. Считавшийся литературно-политическим, он имел целью пропаганду декабристских идей посредством литературы и искусства, а своё название получил по цвету абажура в зале заседаний, символизировавшему «свет и надежду». Они, свет и надежда нужны и теперь, но деятельность нашего салона преследует уже не политические, а художественные цели. Возможно, такой путь к свету – короче.

Подлинной была и парижская «Зелёная лампа» Мережковского и Гиппиус – литературное общество, объединившее почти всех видных литераторов и мыслителей русского зарубежья – уже XX века. И.Бунин, М.Алданов, В.Ходасевич, Г.Иванов, А.Ремизов, Н.Бердяев, Л.Шестов – только часть списка.

Как и первая «лампа», эта – отнюдь не чуралась общественно-политической тематики: на первом же собрании Мережковский обозначил направление: внушать «веру сквозь зелёный цвет надежды. Веру в свободу, с надеждой, что свобода и Россия будут одно». Позже на собраниях речи всё же велись и о

миссии русской литературы в изгнании, впервые обладающей истинною свободой, невозможной в СССР, и единственно способной сохранить русскую речь, то есть – русскую культуру.

Когда-то эмиграция первой волны сделала как раз это великое дело, помогла сохранить основы живого и чистого родного языка, который в метрополии, в России почём зря гробили дорвавшиеся до власти безграмотные низы. Нечто подобное происходит там и теперь, и снова нам грозит одичание и потеря себя. Русские писатели, живущие сейчас в Германии, могут внести свой вклад в дело сохранения своей культуры. Да, нас тут мало и вклад тоже будет мал, но он – будет, и поэтому не стоит бросаться высокими словами: наше дело – сохранить не что-то глобальное, но – хотя бы нескольких настоящих писателей. Вместе мы заметнее.

Мы собираемся не ради политических дискуссий – дай Бог разобраться и с художественным словом. Однако мы вовсе не аполитичны, просто литература всегда шире любой политики. И настоящая литература всегда права – для умеющих читать.

У нас нет единого распорядка собраний: какое-то может быть посвящено творческому вечеру одного из нас (в антологии наши произведения составляют раздел «Берлинцы»), другое – презентации нового номера журнала «Студия», издаваемого поэтом Александром Лайко (был представлен и первый номер журнала «Зарубежные записки»), на некоторых мы устраиваем чтение по кругу, а если удаётся – встречу с приезжими литераторами. Последних мы не можем приглашать специально, на это у нас нет средств, но зато стараемся принять тех, кто приезжает в Германию по своим делам. Например, во время проходившего в Берлине Всемирного конгресса ПЕН-клуба нашими гостями были президент и генеральный директор русского ПЕНа Андрей Битов и Александр Ткаченко, творческий вечер в Салоне включил в программу своих германских выступлений поэт и переводчик из Санкт-Петербурга Михаил Яснов, очень удачно для нас приезжали на Международный литературный фестиваль Виктор Ерофеев, а на конгресс «Европа – наш общий дом?» – критик Александр Люсый... Были нашими гостями и писатели Светлана Василенко, Инна Кабыш, Вячеслав Куприянов, Александр Мелихов, Юрий Ряшенцев и Людмила Улицкая, философ Владимир Кантор, редакторы израильского журнала «22» Нина и Александр Воронели. Наши собрания регулярно посещает вице-президент ПЕН-центра писателей- эмигрантов в немецкоязычных странах Урсула Усаковска-Вольф, немецко-польская переводчица, а одно из собраний было целиком посвящено встрече с президентом Exil-P.E.N. профессором Вольфгангом Шлоттом.

Салону не удаётся замкнуться в начальных камерных рамках. Если даже не

упоминать творческие вечера мюнхенца Бориса Хазанова и москвича Евгения Рейна, проведённые Салоном в больших залах, то никак нельзя обойти вниманием наши усилия по устройству фестивалей поэзии. Несколько лет назад в Мюнхене проводился Всегерманский фестиваль русской поэзии. Он имел большой успех, но на его повторение в следующие годы не нашлось средств. Между тем идею фестиваля нельзя было оставлять – и Анна решила добиться повторения действия, причём если уж – всегерманского, то, конечно – в столице, в Берлине. Мероприятие могло быть значительным: в Германии живёт около двадцати известных русских поэтов. Все эти два десятка человек нужно было привезти в Берлин, поселить в отеле, накормить и потом отправить по домам (а в идеальном случае ещё и осчастливить хотя бы какими-нибудь гонорарами) – для этого требовались, в общем-то, небольшие для любой фирмы или организации деньги, но их не нашлось нигде. И тем не менее в 2008 году Анне удалось пригласить для выступлений пусть не двадцать, но – трёх поэтов: Сергея Бирюкова, Марину Гершенович, Вадима Перельмутера – из городов Германии (не считая, разумеется, берлинцев) и Веру Павлову – из Москвы. Вдобавок в Берлине вовремя оказался московский поэт Евгений Бунимович. День наших выступлений совпал со днём рождения Пушкина, отчего они и были названы – Пушкинские чтения. В их программу вошла и подобающая всяким Чтениям теоретическая часть. Примерно то же удалось повторить и в следующем, 2009 году, когда отмечался 210-летний юбилей Пушкина: Анна устроила Пушкинские встречи, пригласив поэтов из Германии Сергея Бирюкова, Ирину Рашковскую и Даниила Чкония. Два поэта добрались за свой счёт: из Кёльна – Демьян Фаншель, а из Москвы – Вадим Месяц.

Практически все собрания Салона записаны на диктофон, есть и обширная фототека наших вечеров, которую постоянно пополняют Виктория Юризицкая и Иосиф Малкиель. Из их снимков и из автографов гостей составлен альбом Салона – это работа художницы Марины Герцовской. И вот – наше первое книжное издание – настоящая антология, посвящённая юбилею. В неё вошли произведения как постоянных участников собраний, так и гостей, выступавших в Салоне или на Пушкинских днях.

Составители благодарят всех предоставивших свои произведения для публикации в антологии. К сожалению, по разным причинам тексты нескольких авторов включить в сборник не удалось.

Вадим Фадин

Из интервью Анны Перчёнок-Фадиной русскому радио Берлина

На собрании Русского литературного салона «У Фадиных», прошедшем 1 марта 2009 года, корреспондент радио RBB-Funkhaus-Euroпа Людмила Скворчевская беседовала с хозяйкой салона Анной Перчёнок-Фадиной.

Рассказывает Людмила Скворчевская:

Берлинский Литературный салон, где собираются русскоязычные члены ПЕН-клуба, появился 9 лет назад. Чтобы быть местом общения и обмена мнениями авторов, пишущих на русском языке, но живущих на чужбине. Штаб-квартирой Литературного салона стала гостиная в доме писателя Вадима Фадына.

Романтичное и несколько старомодное слово «салон» идеально подходит к антуражу комнаты, где собираются литераторы. Приземистый сервант, пара удобных кресел, уютный мягкий диван. Посредине – низкий овальный стол. Глянцевыми листьями поблескивает в углу ветвистый фикус. По уверениям астрологов, этот цветок создает хорошее настроение и у домочадцев, и у гостей. Так это или нет, но даже во время самых жарких споров атмосфера в салоне остаётся лёгкой и приятной.

Людмила Скворчевская: Было неожиданностью найти такое собрание в Берлине. Как возник салон?

Анна Перчёнок-Фадына: Этот салон появился по инициативе ПЕН-клуба, нашего Экзиль-ПЕН-центра, членами которого являются писатели, живущие вне своей родины. Борис Шапиро, который был тогда вице-президентом этого центра, предложил устроить такое литературное собрание. И мы согласились.

А.С. Кого объединяет салон? Я вижу в гостиной не одних только литераторов

А.П. Мы приглашаем людей, профессионально занимающихся литературной деятельностью – занимавшихся ею ещё в прежней жизни, на родине. Понятно, что рамки размыты и не всегда можно сказать, что такое профессиональный или непрофессиональный писатель, однако уровень мы умеем отличать. Это только костяк нашего собрания, его постоянные члены. Но к нам ещё всегда приходят художники, журналисты, издатели... Вот и сегодня вы видите здесь известного кинооператора Сергея Юризицкого и его жену Викторию – редактора кино, актрису, психолога и фотографа, всё в одном лице...

Л.С. Сегодня Александр Лайко представлял очередной номер журнала «Студия». Это удачная случайность?

А.П. Это традиция.

По установившейся традиции писатели встречаются, чтобы прочитать друг другу свои только что законченные произведения или представить – изданные, узнать литературные новости, пообщаться с приехавшими из метрополии коллегами или обсудить содержание очередного номера литературного журнала «Студия», редакционная коллегия которого – основа здеишего собрания.

На этот раз ещё одним поводом для встречи стала книга Дмитрия Драгилёва «Все приметы любви», недавно выпущенная издательским проектом «Русский Гулливер». Трудные стихи с предельно вольными ассоциациями вызвали горячую дискуссию. Пока писатели выясняли у автора, как рождаются так называемые герметичные стихи, Анна принесла летопись Литературного салона – оформленный художницей Мариной Герцовской увесистый альбом с фотографиями и автографами именитых гостей – Людмилы Улицкой, Виктора Ерофеева, Светланы Василенко...

Л.С. Тут и рисунки...

А.П. Это рисунок Саши Ткаченко. Вечер, когда у нас в гостях были Битов и Ткаченко, – один из самых запомнившихся. Битов – необыкновенный человек, умница. Причём, Битов – прозаик, а Ткаченко – поэт. Но они в этот вечер поменялись: Битов читал свои стихи, очень неожиданные, очень любопытные, а Ткаченко – юмористическую прозу. Это было в 2006 году, за год до смерти Александра Ткаченко, директора русского ПЕН-центра.

Л.С. Бывают ли у вас другие русские писатели, живущие в Германии?

А.П. Очень интересной была встреча с Борисом Хазановым. Он живёт в Мюнхене, но раз уж оказался в Берлине, мы не могли упустить такой случай и не пригласить его. Хазанов – прекрасный писатель, человек необычайно эрудированный, таких энциклопедистов считанные люди остались.

Видите – гости приходят разные, интересные, каждый со своим внутренним миром. Мы всем рады.

Две презентации в один вечер – это немало. Но выпито крымское шампанское, высказаны мнения, заслушаны ответные выпады. Словесное фехтование пошло на убыль. Литературный салон закрылся – до следующей встречи через два месяца.

Людмила Скворчевская – журналист, член Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union.

Родилась в г. Кривой Рог. Окончила Харьковский политехнический институт. Работала инженером-электронщиком, преподавателем английского языка, руководителем детского театра в Доме пионеров. В Германии – с 1994 года. С 1998 – корреспондент русской редакции радио RBB-MultiKulti (теперь RBB-Funkhaus Europa). Печатается в русских СМИ Германии.
Живёт в Берлине.

Анна Перчёнок-Фадина – хозяйка Русского литературного салона.

Родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский инженерно-экономический институт. Работала в проектом институте, затем преподавала экономические дисциплины. В начале 90-х г.г. была финансовым директором московского театра для детей «Пилигрим». В Германии – с 1996 года.

Живёт в Берлине.

Вадим Фадин

* * *

Изобразить Святаго Духа
не может тот, чьё сердце сухо,
а, значит, и никто из нас.
И вот тирада непечатна,
судьба поэтому печальна,
судьба поэта... Вещий глас
дан бессловесному, случайно.

Невероятно – день пасхальный
связать с иконою наскальной,
а время наше странно мне.
Моя беда – случайность дара,
ведь ум имеет форму шара,
чьей затенённой стороне
ясна не Троица, а – пара.

* * *

Нить бытия закручена в спираль,
и много раз встречается февраль,
но только без падения престола.
И много раз уходит вниз зима,
неотвратимо тают терема
и можно ждать пусть самого простого,
но всё же – потрясения ума.

Нить бытия протянута во тьме
(но только тот, кто не в своём уме,
помыслить может о включенье тока),
а кровь – тепла, и отдаёт в виски,
когда возок на скользкие витки
влетает. Так придумано жестоко,
что ненадёжны быстрые возки:

ственное, не понятое Петром, так это необходимость сноса крепкого дома; прочие неизвестные – имена и географические названия – больше не имели значения. Тем не менее, ему хотелось оставить себе о ней какую-то память – конечно же, не снимок бесхозной московской комнаты (скоро и его квартире предстояло стать таким же пустым скворечником).

В этот день окно напротив открылось позже обычного, когда Пётр уже решил было, что его наблюдениям пришел конец. Бинобль предъявил всё ту же картину разорения, но теперь здесь чувствовалось чьё-то присутствие. Подождав немного, Пётр увидел приближающегося мужчину. Вскоре стало возможным и различить черты: это сам Пётр подходил к развалинам.

Носком сапога он пошевелил обломки – под кусками дерева и штукатурки попадались пустячные уцелевшие предметы: парфюмерные флаконы, рамочка от фотографии, чайное блюдце. Пётр поднял было нательный простой крестик на гайтане и хотел оставить себе, но вспомнил, что носить чужой крест – не к добру: кто знает, какое бремя ты взваливаешь на душу. И тут он увидел то, что искал – перочинный нож. Пётр осмотрел его – нож легко открывался и был хорошо заточен.

Он долго стоял, рассматривая вещичку со всех сторон. Солнце, между тем, стремительно западало.

Опубликовано в журнале «22» (Израиль), №117, 2000г.

Вадим Фадин – поэт и прозаик. Член ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и германского союза писателей «Verband Deutscher Schriftsteller».

Родился в 1936 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Работал на испытаниях ракет, а с 1976 года в области public relations. В 1998 году на русском телевидении Берлина вёл авторскую литературную программу.

Автор многочисленных журнальных публи-

каций в России и др. странах (стихи и проза, в том числе – повести «Темна вода во облацех» и «Кто смотрит на облака»).

Переводил с эстонского и итальянского.

Изданы книги стихов: «Пути деревьев», «Черта», «Нить бытия» и романы: «Рыдание пастухов», «Семеро нищих под одним одеялом» и «Снег для продажи на юге».

Лауреат премии им. М.Алданова 2008 г.

В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

20

**Участники
литературных собраний:
берлинцы**

Ольга Седакова

Из цикла «Старые песни» (1980 – 1981)

1. Обида

Что же ты, злая обида?
я усну, а ты не засыпаешь,
я проснусь, а ты давно проснулась
и смотришь на меня, как гадалка.
Или скажешь, кто меня обидел?
Нет таких, над всеми Бог единый.
Кому нужно – даёт Он волю,
у кого не нужно – отбирает.
Или жизнь меня не полюбила?
Ах, неправда, любит и жалеет,
бережёт в потаённом месте
и достанет, только пожелает,
поглядит, как никто не умеет.
Что же ты, злая обида,
сидишь предо мной, как гадалка?
Или скажешь, что живу я плохо,
обижаю больных и несчастных...

3. Судьба

Кто же знает, что ему судили?
Кто и угадает – не заметит.
Может, и ты меня вспомнишь,
когда я про тебя забуду.
И тогда я войду неслышно,
как к живым приходят неживые,
и скажу, что кое-что знаю,
чего ты никогда не узнаешь.
А потом поцелую руку,
как холопы господам целуют.



Сергей Гладких – переводчик русской литературы на немецкий язык, художник.

Родился в 1952 году в Ростове-на-Дону.

Окончил Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза.

В 1976 году переехал в Германию. Среди его работ переводы поэзии М.Цветаевой,

В.Хлебникова, А.Тарковского, Д.Пригова, Л.Рубинштейна, В.Куприянова и др.и прозы

Вен.Ерофеева, В.Сосноры, В.Хлебникова,

В.Мамлеева и др. Параллельно работает как

художник (персональные и коллективные выставки в Германии и других странах).

Живёт в Берлине.



Дмитрий Драгилёв

Moonglow

«It must have been Moonglow»

Эдгар де Ланж

«I just... walked away

in the middle of the night...»

Артур Аршавский,

более известный как Арти Шоу

Разноцветная проволока вдоль и над
улицей скользящей до полупяти-
звездочного отеля
светская хроника встреч очередных птичек
комната держит полночь на оптическом прицеле
единственного окна
и лишает прагматичности спичей
всех бытующих взаперти

На отшибе к месту считать
шифер на крышах сараев и всё
мимо снующее (здесь:
автофургоны седаны и те кто поменьше)
сбиваясь со счёта
перечитывать старой газеты подвал и на скорость заучивать как устав
если время засёк
вспоминая про «чарлик»* что ждёт своего шептуна и зрителя не лошадей
но распущенных щёток

Тех в которых вечер шурша свингует
из озона и джаза воздух дающий фору
путь вдоль рельсов в прибитой дождём пыли
драйв под фонари в трёх белых плафонах
как шарах пломбира и свет отцеженный сквозь тугую
изумрудную зелень лип.

* жаргонное обозначение части ударной установки – тарелок на штативе с педалью, известных как «чарльстон-бекен» или «хай-хэт»

по талонам, согласно висоцкому, только автобусным
не морочь мне голову, хлеб ладонями не сандаля
не взирая на общее безнарядье, наверное, чтобы сны

оставались лёгкими, как простак,
контрамарки в цирк или доставшееся «за так»
ложе вымышленной возлюбленной (let's go сладчайшая часть)...

но если слабо и маешься, не зная с чего начать
то лучше с легкой десятой цифры:
закат, он ведь тоже всегда – затакт

* * *

Живёт твоя зазноба одна,
Забывая, как город Шарья.
Ты – ложкою на поиски дна,
Но кажется, что всё это зря.

Емеля или муромский друг,
Ухват, на нём старушка в платке,
И горькую затеяв игру,
Ты всё ещё сидишь на горшке.

Хазарский изучался словарь,
Кипели страсти в дискурсе шпал,
И к Пуху монтыляла сова
В ту ночь, когда он с печки упал.

Дмитрий Драгилёв – поэт, журналист, музыкант, член ПЕН-клуба и Союза русских писателей в Германии.

Родился в 1971 году в Риге. Образование получил в Латвийском университете (история), Веймарской консерватории и Йенском университете (славистика).

Стихи, проза, эссе и переводы публиковались в журналах, антологиях, онлайн-изданиях. Автор книг стихов: «К чаю в пять», «Все приметы

любви», «Безударная гласная», книги очерков «Лабиринты русского танго». Был редактором литературно-культурологического журнала «Via Regia» (Эрфурт), иллюстрированного журнала «Ру.Башка» (Берлин). Выступает с концертами как джазовый пианист, аранжировщик и руководитель ансамбля. Лауреат премии журнала «Дети Ра» за 2006 г., призёр берлинского русского слэма.
В Германии с 1994 г. Живёт в Берлине.

Борис Замятин

Советы начинающим писателям

Если вы не знаете с чего начать, начните с заявления в Союз писателей.

Начинайте после сорока. К пятидесяти у вас появится шанс снова стать «молодым».

Не читайте рукописи жене. Читайте только очень близким людям.

Проверьте свои способности. Если у вас не получаются стихи, вы – прозаик, а если ни стихи, ни проза, вы – критик.

Чтобы докопаться до человеческой души, начинайте не с пера, а с лопаты.

Хотите, чтобы ваш герой получился положительным, не пишите его с себя.

Если в столичной редакции вас послали подальше, считайте, что это хорошая рекомендация для периферии.

Если вы поэт, вас должна навещать женщина по имени Муза, а если прозаик, имя её не играет роли.

Ешьте больше фруктов, содержащих железо. Писателю нужны железные нервы.

Чтобы получить право на банальность, надо сначала доказать свою оригинальность.

Если ваши вещи не берут в редакциях, предложите их в комиссионке.

Цветкова поразило, что глаза у чиновника были умными, а морда тупая, бульдожья, совсем как у репортёра «Потусторонних ведомостей», бравшего у Цветкова интервью, когда он в первый раз увидел тарелку. Чиновник сидел за полукруглым столом в прозрачной закрытой капсуле и говорил через микрофон. «Наверное, взрывозащита, – сообразил Цветков, – а может защита от наших микробов?!»

По левую руку от Чиновника в такой же капсуле сидела поджарая девица в чересчур короткой для деловых встреч форменной юбке. Физиономией и худыми длинными ногами она напоминала борзую. Девица нервно трясла острыми коленями и быстро перебирала когтистыми пальцами по клавиатуре, вмонтированной в стол. «Наверное, местная красотка по «особым поручениям», а заодно и секретарь», – хмыкнул про себя Цветков. Справа сидел какой-то хмурый тип и важно кивал. «Ну и будка у мужика. Хоть в собачью сажай», – опять поразился Цветков и решил, что это просто легавый. В целом комната мало отличалась от подобных официальных земных помещений, предназначенных для нелицеприятных разговоров.

– Вы сами понимаете, что для нас не представляет труда заставить вас замолчать, но Межгалактический Закон не позволяет Гончим псам Верхнего Уровня лишать жизни существа низшего разума, наделённые даром, подобным вашему. В том случае, если ущерб, причинённый вами, вызван неведением, либо непониманием содеянного, мы, согласно Закону, обязаны вас предупреждать о последствиях и грозящем вам наказании – депортации с планеты обитания. Причём делать это мы обязаны в присутствии не менее двух свидетелей, – Чиновник кивнул сначала направо, а потом налево. – Поэтому вы здесь.

– А те двое, что меня забирали, не могли меня об этом предупредить? – спросил Цветков.

– Это человекоподобные биороботы. Как и корреспондент газеты «Потусторонние ведомости». Пришлось их срочно создавать. Я же вам сказал, что вы уже стоили нам немало. Но Межгалактический Закон превыше всего, и мы неукоснительно будем следовать ему и впредь. Сейчас я предлагаю вам собственноручно подписать вот этот документ о неразглашении всего увиденного и услышанного, связанного с нами. И отныне никому ни слова. Даже жене. Не такая уж высокая цена за возможность спокойно жить на Земле, не правда ли? В случае нарушения данного вами обещания вы предстанете уже не передо мной, а перед Высшим Судом созвездия. Я не сомневаюсь, что вы меня правильно поняли.

* * *

Ещё через сутки тем же путём Цветкова возвратили на Землю.

Это и было для Цветкова самым главным, потому что жену он действительно любил больше всех других своих женщин. В Маше, как в чистом небе, он умел видеть то, чего не смог увидеть никто другой на планете Земля, и она это ценила.

Два дня Цветков отсыпался. Восстанавливал нервную и прочие энергии. Выспавшийся и счастливый он встал, сделал парочку приседаний и, проведя рукой по щекам, вспомнил, что через день Новый год, а он уже несколько дней не брился. Цветков прошёл в другую комнату, глянул на себя в зеркало и в страхе отшатнулся. Зажмурился и медленно разжимая веки глянул в зеркало опять. Видение не исчезло. Он резко повернул голову и глянул в окно.

За окном висела летающая тарелка.

Сказочка Про Весёлого Короля

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил да был один добрый и весёлый король. Правил он как мог страную и людьми и народу своему нравился.

Женился веселый король рано, по любви. Народу это очень понравилось. Но государственным делами он стал заниматься в свободное от любви время, и народу это не понравилось. Тогда король назначил из лучших представителей своего народа такое мудрое и доброе правительство, какого народ и не заслуживал. Оно целыми днями только тем и занималось, что пеклось о народном благе, совершенно не думая о своём. Народу это очень понравилось. И так упорно это правительство пеклось, что в стране наступила полная благодать. Каждый желающий мог работать, хотя таких оказалось не очень много. А тот, кто не желал, мог не работать, потому что и неработающие жили прекрасно. Работающие, понятное дело, ещё прекрасней. То есть началась такая жизнь, какая бывает только в сказке.

Народу это почти понравилось. Почти, потому что одно обстоятельство не давало людям успокоиться. Работающие считали, что должны жить ещё лучше, поскольку они работают, а неработающие – что должны жить не хуже, чем работающие, поскольку они такие же граждане, как и работающие. Беспокойства тех и других постепенно перешли в волнения и выплеснулись на дворцовую площадь. В королевском дворце три дня и три ночи заседало правительство, но ничего не высидело. Народу это не понравилось.

Тогда король приказал поменять местами работающих и неработающих, надеясь, что первые перестанут жаловаться на то, что получают меньше, чем заслуживают, так как не будут работать, а неработающие утихомятятся, поскольку

станут жить, как работающие. Долго ли, коротко ли, но как король велел, так и сделали.

Народу это совсем не понравилось. Потому что работающие уже совершенно не умели жить без работы, а неработающие – уже не умели работать. В государстве, где «все было тихо и складно», началась разруха, плавно перешедшая в полный хаос.

Новые лучшие представители народа совершили революцию, свергли и посадили в тюрьму правительство, отрубили королю его весёлую голову и объявили, что воцарилась демократия.

Народу это понравилось. И тут уж народ избрал новое правительство, какое заслуживал. Как и всякое нормальное правительство, оно сразу же заявило, что будет заботиться в первую очередь о самых нуждающихся и самых слабых и для этого сразу повысило оклады всем своим членам.

Народу это не понравилось, хотя, как и при прежнем правительстве, кто не хотел – не работал. Но и кто хотел – теперь тоже не работал, потому что работы с каждым днём становилось меньше и меньше, и только цены – всё больше и больше. Народу это совсем разонравилось.

Тут и сказочке конец, но какой-то он получился грустный. Народу, наверно, не понравится...

Борис Замятин – прозаик, журналист, член ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и Союза русских писателей Германии. Родился давно, ещё в прошлом веке, ещё на Украине. Стал на Урале инженером, в Забайкалье – офицером, в Чёрноземье – журналистом, а в Москве – афористом. Там же, в Москве, начал печататься в центральной прессе (от газет и журналов до календарей), в многочисленных сборниках афоризмов и поэтических миниатюр, в антологиях иронической поэзии. Стал лауреатом «Золотого тельца» клуба ДС «Литературной газеты» и других премий,

«действительным» членом «Московского клуба афористики», выступал на радио и мелькнул на телевидении. Рассказы были опубликованы в журналах «Дружба народов», «Грани», «Родная речь» и др. В 1996 году уехал в Германию. Сотрудничал с газетами «Русская Германия», «Контакт», «Рубеж» и др. Работал редактором в газете «Европа экспресс», гл. редактором журнала «Имидж», редактором сатирического раздела журнала «Ру. Башка». Лауреат литературного конкурса «Согласование времён». Живёт в Берлине

Татьяна Зажицкая

Кари

(*Наши 70-е – 80-е*)

Отрывок из документальной повести

Прощай Поэзия! Не мир тебя подьѐмлет
Но меч поставил сторожем дороги
Там где вдали кончаются тревоги
Взаимопроникающих границ.
Всесилие твоё увы ничтожно
И я последний возлагаю камень
И может быть прекраснейший последний
Дабы уйти под хрип и пеньѐ птиц.
Прозрачней слѐз и тѐплым словно сердце
Он будет стыть пока проходят годы
Он будет стыть но привлекать вниманье
Ничтожным замедлением души
И ты прохожий перед тем как птицей
И ты прохожий перед тем как веткой
И ты прохожий перед тем как ветром
По мне минуту эту не спѐши.

Кари Унксова, 1972, Ленинград

«Исчислен диск и обозначен век...»

В Европе холодно. Примavera XXI века явилась не в наряде из цветов и трав, а в плаще из снега и по колено в воде.

Я поставила, наконец, точку в записках о Кари.

В 89-м, в Таллинне, я начинала эти записки. Я не специалист по поэтическим текстам, всего лишь пристрастный читатель. Я понимала, что оценка её творчества – дело искушенного критика. А сама я попытаюсь написать о той Кари, которую знала, любила, с которой общалась во время её приездов в Эстонию в последнее десятилетие её жизни. Но, начиная и эту работу, я чувствовала, что

нужны соединённые усилия тех, кто знал её в разное время, в различных обстоятельствах, и отдавал себе отчёт в масштабе её дарования и феномене личности. То, что я пыталась делать, к моему огорчению, оказывалось ниже и мельче замысла, и я оставила эти не дававшиеся мне записки.

А позже, когда обстоятельства бросили мою семью в эмиграцию, переключилась на проблемы, которые, как говорится, мне и не снились прежде.

Пять лет прошло, прежде чем мы сумели, наконец, получить из Таллинна наши книги и архивы. Среди них – обтянутая холстиной, с металлическим замочком, папка Кари с её стихами тридцати - и двадцатилетней давности... Я перечитала всё заново и опять заболела её поэзией, как тогда, в Таллинне, много лет назад.

Поразительно... Её уже давно нет на свете, но будто и сегодня ведёт она диалог с человеком и миром, который по-прежнему так нуждается в милосердии. Почему-то особенно остро ощутилось это здесь, в центре Европы, – Кари, свободно передвигалась в её культурном пространстве, но так и не успела в ней побывать...

Я открыла свои старые записки. И вдруг поняла, что надо спешить. Неизвестно, сколько ещё отпущено, а не все человеческие долги отданы. Память о Кари – один из них.

... Совершенно не представляю, что получилось из этих прерванных и продолженных спустя десятилетие записок...

Бледные старомодные фотографии. После смерти своих родных мы собираем их бережно в конверт и возим за собой из страны в страну, а теперь уже из века в век. Сохранённые в химической памяти мгновения. Они чёрно-белые – в те времена цвет был недоступной роскошью. Иногда мы извлекаем эти снимки, и графика расцветает всеми цветами жизни... Так и мой текст. Я читаю его как бы чужими глазами и меня охватывает отчаянье. Но я успокаиваюсь, как только вспоминаю, зачем и чего ради я всё это написала. Просто не могла не написать. Хотя бы потому, что меня понуждал к этому мой знак – Весы. Это хороший знак, не буду скромничать, но в нём, помимо всяческих достоинств, есть одно свойство – врождённое и дотошное чувство справедливости. Очень часто оно портит жизнь носителю знака, доводит до бешенства близких и разрушает отношения. Это так, и проверено жизнью.

А что касается текста, то я просто разобью его на главки и каждой дам название, чтобы удобнее было читать.

* * *

... Сегодня я опять попала в Штеглиц, в этот переход метро. Уже издали слышу джазовые синкопы, значит старик на месте. Он внушает страх. Будь это обычный уличный музыкант, каких десятки или сотни в Берлине. Но этот... Он сидит в инвалидном кресле в подземном переходе у самого выхода на торговую нарядную улицу в фешенебельном районе Западного Берлина.

У ног старика крутится старый магнитофон, распевая во всё горло весёленькие американские шлягеры 50-х. Старик неподвижен, и только костлявая рука, продетая в кожаную петлю на подлокотнике, отбивает жестяной ритм и в такт ему дёргается и кривляется марионетка, подвешенная к креслу и каким-то образом связанная с этой костлявой рукой в петле.

Старик опрятен, острые колени обтянуты добротными брюками, из-под баварской шляпы торчит костистый пергаментный нос. Может, старик тоже кукла или... мертвец? – каждый раз, проходя мимо, думаю я. Почему бы и нет? Всё возможно...

Сегодня, бросая ему марку, я нагнулась и заглянула под поля шляпы – застывший перекошенный рот, холодный и безучастный, но всё-таки живой взгляд. Теперь понятно. Старик – паралитик. Кто-то прикатил его сюда, придумал этот бизнес, эту оснастку и режиссуру. Сын? Сосед? Брат? Фрагмент пёстрой мозаики берлинской улицы.

Телевизор включаю, едва переступив порог и бросив портфель. Какое там сегодня тысячелетие на дворе? Смотрю подряд по трём программам три выпуска новостей. Везде одно и то же.

... Над Европой, как в средневековье во времена инквизиции, стоит дым от костров. Но сегодня сжигают трупы коров и овец. В сводках новостей сообщают ежедневные цифры убиенных животных – 10, 20, 30 тысяч... Лица плачущих немецких, французских, английских фермеров. На стерильном Шенгенском пространстве завелись ящер и чума.

С экрана каждый день смотрит на зрителей прелестное лицо девочки Ульрики, – она исчезла несколько недель назад. 500 полицейских перекопали каждый метр пространства от Берлина до Бранденбурга, нашли 1000 свидетельств её похищения и её осквернённое тело, но насильника пока не нашли; обсуждается вероятность анализа спермы у подозреваемых. Благотворители повысили сумму награды за поимку до 50 тысяч марок.

Нескончаемый мультикультурный праздник на Александерплатц и Курфюрстендамм в Берлине. Трубы и барабаны в Майнце и Кёльне зовут всех на прощание с карнавалом до осени, – традиция неколебима, конкурс костюмов и масок, ох и достанется правительству! И вот плывут среди пляшущей толпы открытые платформы с красотками, оркестрами, а на одной – огромная голая задница, из которой торчат головы государственных мужей. Отчаянное веселье, и пиво льётся рекой.

Комментаторы обсуждают вероятность попадания обломков российской космической станции «Мир» именно на Германию. Уточняются траектории падения, на какую именно землю, город, улицу...

И опять в Европе стреляют, по-новой началась этническая война на Балка-

нах. На помощь миротворцам ползут из Германии танки. На экране опять трупы, плачущие женщины, дети, пожитки – беженцы.

В программах новостей обязательная смертная статистика за день: лавина в Альпах накрыла 16 человек, упал автобус с шоссе на теннисный корт – 70 человек, попал в аварию школьный автобус – 30 детей, взрывы в Минводах и Ессентуках – 21 человек... Будничность и деловитость статистики снижают у зрителей стресс, а также не дают задержаться мыслям о ценности единственной, дарованной человеку жизни и его бессмертной душе. Американские подростки, расстреливающие своих сверстников, об этом и вовсе не думают. Третий год не сходит со сцены спектакль Свободного берлинского театра «Ich habe nicht, Adolf Hitler ist es gewesen» – «Я здесь ни при чём, это был Адольф Гитлер».

Совесьть и чувство вины, столь протяжённые во времени, для многих и досадны, и дискомфортны. Поэтому столь упорными были дебаты в обществе по поводу мемориала в центре Берлина. Один за другим отвергались конкурсные проекты, а также текст надписи «Жертвам нацизма». Представители еврейских организаций требовали добавить: «Евреям – жертвам нацизма». Тогда выступили с протестом представители цыганского народа и гомосексуалисты – они тоже были жертвами, так же, как и душевнобольные. Итак, получалось: «Жертвам нацизма - евреям, цыганам, гомосексуалистам и душевнобольным». Но на этот раз были оскорблены чувства евреев. Цыгане обвинили евреев в расизме. Остановились на надписи «Памяти европейских евреев и других жертв нацизма».

Опять-таки вопрос места. Плато площадью чуть ли не в квадратный километр с двумя тысячами одинаковых бетонных надгробий (таков окончательный проект) – в центре нового Берлина?! Недалеко от Бранденбургских ворот? Это невозможно, – говорили одни. Нарушит будущий архитектурный ансамбль, отпугнёт туристов... Нет, говорят другие, именно в центре, именно в Берлине, вот такой, бетонный безобразный и мрачный, бесчеловечный, как Холокост, чтобы помнить вечно, чтобы каждый, кто пройдёт через центр этого города, прошёл через этот лабиринт, ужаснулся и вспомнил.

...как это ужасно
Я сяду на мостовую
На тёплый асфальт
Еще тёплый от тёплого пепла
Пусть одуванчики
Смеются
Рыхля тонкий прах
Праотцов авраамово семя

дите в гости, Таню и Алёшу берите, вот наш дом, напротив, номер квартиры, этаж, подъезд.

– Ничего себе... А какие они из себя?

– Женя – маленькая и красивая, Лео – высокий и элегантный. Эстонец.

– Интересно... Как же это, в гости, без звонка, без предупреждения?

– А так, в любой вечер, когда в окнах свет, говорят.

...Связываются воедино появление Кари в Таллинне, ставшее началом её привязанности к Эстонии, и наше знакомство-дружба с Евгенией и Лео Рандмаа, журналистской четой, сумевшей сделать стандартную панельную «хрущёвку» таким уютным, тёплым и гостеприимным местом, что мне она помнится именно домом. Мы исправно служили в своих редакциях тягостному режиму, с одной стороны. С другой, постоянно нуждались хотя бы в глотке тайной свободы, которую несли запрещённые книги, запретные темы, запретная информация. У четы Рандмаа собиралось неслучайное общество. Но помимо этого, вам дарились такая человеческая теплота и гостеприимство, что вы отогревались душой надолго. И каждое чаепитие, обед, приём Женя и Лео умели превратить в маленький праздник для всех нас.

...Сейчас, по прошествии лет, цепь, казалось бы, случайных знакомств, дружб, общений уже не кажется случайной. Жизнь выстраивала её по своим неумолимым законам, по логике, которая сводит людей или разводит их навсегда. И понимаешь однажды, что наши человеческие потери, о которых сожалеешь, так же закономерны, как обретения. Только этого никогда не понять сразу, нужны дистанция и время. И только потом, иногда, приходит ясность.

В Таллинне и Тарту у Кари образовался свой круг общения, друзья и дома, в которых она бывала или останавливалась. Самой близкой её подругой в Таллинне была Ата Малкина, которая, наверное, и познакомила Кари со своими тартускими друзьями – филологами. Ате Малкиной и мы с Иосифом обязаны встречей с Кари, но познакомились с ними обеими в доме Рандмаа, и было это в конце 1971-го или начале 72-го.

...Как-то позвонила Женя и сказала: придёт Ата Малкина и приведёт свою подругу, поэтессу из Ленинграда, будем слушать её стихи. Собралось, наверное, человек десять. Кари сидела в кресле, положив рядом изрядную стопку отпечатанных на машинке текстов. Безо всяких предисловий и комментариев, неспешно брала один за другим листы и так же неспешно, спокойно, чистым голосом, с легкой картавинкой, читала нам почти час, нисколько, впрочем, нашей реакцией на читаемое не интересуясь. Закончила, отложила последний лист и подняла глаза на нас. Ни лёгкого румянца на матовом, бледном лице, ни малейшего волнения в ясно-карем взоре, лишь легкая улыбка Джоконды на устах. А мы – мы ошалело смотрели на неё и... молчали. Нас буквально затопи-

ощущении абсолютной адекватности её личности и её поэзии, внешности и манеры говорить, двигаться, улыбаться, слушать.

Статная фигура, царственный лоб; лицо не то чтобы красивое, но удивительное в ясности и определённости чёрт, не тронутое какими-либо косметическими ухищрениями, из тех редких лиц, о которых говорят: вне моды и на все времена. Она была дружелюбна, равна в настроении, всегда приветлива. Обладала отменным, несуетным чувством юмора.

Притом, что много и охотно читала свои стихи, говорила мало и больше слушала. Никогда не вступала в дискуссии и споры, о чём бы то ни было. Могла по-детски и радостно восхититься чем-то, но сетовать, жаловаться, обличать или порицать кого-то – никогда.

Между тем, её превосходство, интеллектуальное и духовное, было несомненным, но я не помню случая, чтобы она воспользовалась этим в общении. Те, кто были чужды ей, или те, кому была чужда или безразлична она, как-то сами собой отлетали. Что ещё поражало в ней? Вот что. Она была божественно свободна в отличие от всех нас.

Как мог иначе воспринимать такую Кари нормальный советский индивид – интеллигент 70-х годов, ходящий каждый день в присутствии, задурённый бытом, обедом, ремонтом. Озабоченный разного рода покупками, вечной нехваткой денег и времени? Кари ничем этим не была обременена. Она нигде не служила, денег, естественно, не зарабатывала, её быт, а также гардероб доходили порой до аскетизма, за которым начиналась нищета.

Как мог воспринимать такую Кари, к примеру, собрат по поэзии, снедаемый тщеславием, отирающийся в литературных прихожих и салонах, имеющий родственников или покровителей во «властных литературных сферах» и худо-бедно издающийся? Или его редактор? У них ведь тоже было подсознание, и с ним было всё в порядке. Между тем, сердечно привязываясь к ней, узнавая лучше и ближе, я понимала, что Кари тоже хотела бы публиковаться, как другие поэты, вносить свою лепту, добытую неустанным литературным трудом, в скудный семейный бюджет, – о ней и дочке Ладе заботился её муж, сотрудник НИИ, Толя, Анатолий, которому она была обязана своей свободой от службы и быта.

Это был редкостный в семейных отношениях договор, обет двоих, на долгие годы скреплённый, как я поняла однажды из слов Кари, абсолютной верой Толи в её дар. Кари никогда не забывала об этом.



Татьяна Зажицкая (Нинова) – журналист, член Международной ассоциации писателей и публицистов.

Родилась в Ташкенте. Закончила филфак Среднеазиатского университета, работала радиожурналистом в области культуры в Ташкенте, затем – в редакции литературы и искусства Эстонского радио. Печаталась в журналах «Советское фото», «Культура и жизнь», «Teater.Kino. Muusika», «Радуга». В 1987 году основала авторскую обществен-

но-политическую радиопрограмму «Диапазон». Программа обозначена в Эстонской Энциклопедии как «первый свободный от цензуры прорыв информационной блокады русскоязычного населения Эстонии». В 1991 – 1994 г.г. была корреспондентом международного журнала «Lette International». В Германии с 1993 года. Работала научным сотрудником в Проекте «История еврейских общин в Германии». Живёт в Берлине.



Александр Лайко

Картины

Сонет с вариантами

Памяти художника

Виктора Зарубина

I

В растресканном багете золотом,
Как будто бы во сне – и сами в спячке –
Вдруг возникают старые рыбачки,
Цветочницы и море за мостом,

Баркасы, и на берегу крутом
В чепцах чухонки, сторбленные прачки,
Бельё везут на деревянной тачке,
И, как сосна, белеет в соснах дом.

Там дамы. Музыка. Мужы во фраках.
Крокет в саду. И англичанин в крагах –
Их тени сохранил фотоальбом.

Все без могил уйдут, сгниют в бараках –
Ты, гимназисточка, ты, прапор в баках, –
Тень близкой смерти на лице любим.

II

В растресканном багете золотом –
С зонтами барышни, в платках простачки,
Наездники, закончившие скачки,
Цветастый, словно клумба, ипподром.

Фонаричок влез на столб. Внизу гуртом
К вечеру шествуют и, точно квочки,
Судачат маменьки, болтают дочки,
И море плещет в сумраке густом.

Что же касается прибоя,
Который волны нам печёт,
То вафля – чёт, то вафля – нечёт,
Объяты синей синевою,
Им и векам теряем счёт.



Александр Лайко – поэт, член ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы, главный редактор русско-немецкого литературного журнала «Студия/Studio», выходящего в Берлине. Родился в 1938 году в Москве. «Поэт примыкает к «лианозовской школе» – и географически, и биографически» – по словам Г. Сапгира, одного из ярких представителей этой школы.

В СССР печатал детские стихи, переводы. Ни одной «взрослой» строки напечатано не было. С середины семидесятых годов публиковался в русских эмигрантских журналах и альманахах («22», «Время и мы» и др.), а после перестройки – и в отечественных. Автор трёх поэтических книг: «Анапские строфы», «Московские жанры», «Другой сезон». С 1990 года живёт в Берлине.



Иосиф Малкиель

Портрет вне интерьера

Я бродил по квартире писателя Горенштейна и думал: «Как же его здесь снимать? Не берлинская квартира девяностых, а типичное советское жильё пятидесятых, прямо какое-то кино Михалкова «Пять вечеров».

Фотографически он никак не хотел вписываться в это «ретро» – так же, как и в собственный образ Фридриха Горенштейна, автора романа «Место», который я, помнится, прочёл в «Знамени» и бегал по знакомым – всё мучился необходимостью поделиться. А тут подоспело «Искусство кино» с «Зимой 53-го года». И, как мир обвалился, – «Псалом»! Всё вместе сцепилось в странное сочетание Горенштейн и Фридрих. Имя совсем немецкое, а Горенштейн – в два слова. Русское горе и к нему немецкое, опять же, – Штейн, то есть камень. Каменное горе горькое... «Псалом» уже ни с кем не хотелось делить (почему – объяснить трудно). Я тогда подумал: вот он, роман столетия – к этому времени все уже порядком объелись перестроечной литературой. На Горенштейна, отводя ему место где-то между Рыбаковым и Гроссманом, косились пресыщенно. Да и заботы накатили другие, отнюдь не литературного свойства.

Толстые журналы фотографий не печатали – внешность Горенштейна я вообразил... Иногда хочется, чтобы автор хоть как-то походил на своих героев. Но воображение – материя зыбкая. Горенштейн мнился мощным, рослым, русоволосым! Наверное, по ощущению силы от романов. Только потом попалась фотография с пышными бальзаковскими усами. Показался вальяжным...

Снимать Горенштейна меня подрядила Мина Полянская, выпускавшая тогда журнал «Зеркало загадок». У неё была идея очередной номер отдать целиком под памфлет Горенштейна и украсить обложку портретом автора.

Для за два до съёмки один журналист в кругу коллег вдохновенно – похоже, от сильной неуверенности в себе – поливал Горенштейна, отказывая тому и в даре Божьем, и вообще во всём. Аргументировал убийственно: тем, что бывал у Горенштейна дома и не обнаружил книг. «Можете себе представить писателя, у которого дома нет книг?» Отсутствие книг фигурировало, как улика в протоколе мента. «Может, он библиотекой пользуется?» – слабо возразил я. Журналист нервно промолчал – видимо счёл вопрос провокационным. Чем-то ушибленный Горенштейном, он вообще делил людей на тех, кто «за» Горенштейна и тех, кто «против». Я-то был «за», и отсутствие у него библиотеки в ступор меня не вве-

ло. Книги были. Немного – но какие-то все нужные; я бы сказал, книги по делу. Впережку с рукописями. Суцая «Герника» на письменном столе, и поверх всего развалился наглый котяра.

Снимать Фридриха на фоне этого безобразия? Не тут-то было. Мы метались между его капризами и моими робкими попытками наладить нормальные съёмочные отношения. К тому же Горенштейн не желал быть «писателем Горенштейном». Похоже, ему хотелось, чтобы я фотографировал его кота.

То ли дело было снимать когда-то, в незапамятные времена, маститого таллиннского литератора на фоне сплошных книжных полок и гипсовых химер (парижский сувенир) в количестве двух, украшавших кабинет. Между химерами и книгами я уместил писательский лик, согласно его режиссуре. Замысел был мутный. Композиция получилась напыщенной и живой, сработало коварство природы фотографии. У китайцев зеркало показывает человеку тысячу лиц. Интересно, сколько лиц показывает фотография? Маститому парсуна с химерами польстила до чрезвычайности. Он украсил ею кабинет. Завис рядом с портретом дочери – поэтессы. Во время съёмки она охотно скрещивала на груди руки с неловко растопыренными у горла пальцами. Жест, мучительно неё стественный, как бы активно намекал на трагизм и наличие поэтической судьбы. Трагизм оказался мнимым, а судьба вполне благополучной, что и отразилось адекватно в творчестве неутомимой строчилы.

У меня было такое впечатление, что в присутствии зрителя Фридрих пытался играть какую-то роль, навязанную самому себе. Он капризничал, иронизировал, ёрничал. Пустился в обычные в таких случаях причитания по поводу собственной нефотогеничности, в основе которых – непроизносимое вслух: «Сделал бы ты меня попрличнее, что ли». Можно бы и прямо сказать, да не удобно как-то. Даже в парикмахерской. (Бывает такое и от сильного комплекса застенчивости).

Инструктированный Миной о правилах общения с писателем Горенштейном, я, тем не менее, начал терять терпение. Мина напряглась. Больше всего она боялась, что я поведу себя с гением недостаточно бережно, что к её ужасу и произошло.

«Так!» – сказал я, стараясь придать голосу твердость. «Вас вообще снимать очень плохо – вы, действительно, окончательно и безнадежно нефотогеничны!» Но Горенштейн простодушно и совсем неожиданно спросил: – «Почему?» – «А потому! – В интонацию я подбавил наглости. – Потому что лицо у вас брюзгшее (что было неправдой), брюзгливое, «бульон» отрастили, ворчите всё время». – «Меня, между прочим, снимали», – изобразил обиду Горенштейн. Я с удовольствием отметил, что настроение его переломилось. Капризная гримаса исчезла. Ядовитый прищур сменился на лукавый (в еврейской лексике соответствующий универсальному «и он ещё будет мне рассказывать!»). Теперь бы

тебя и снимать, думал я, пока Горенштейн извлекал такое привычное, незатейливое хранилище фотографий – конфетную коробку с кружевными оборочками и оленем на крышке. Захвачанные жёлтыми пятнами вечности, сплошь любительские снимки с отоманенными уголками. В основном группки. Из пятидесятых и шестидесятых. Что само по себе всегда интересно. Отдельно в рост Фридрих – молодой тонкий, что бы не сказать тощий. И ещё отдельно в конверте: это уже была классная фотография. Именно её он и предъявил. Колочая чёрно-белая печать. В тених, проработках; по-немецки четкая композиция. Лощёный Фридрих Горенштейн – европейской писатель. Такой, каким и должно предстать перед публикой. Автор – немецкая фотография – постаралась. Фридрих выглядел вполне европейским Фрицем. Хотя на выставку, или в целлофан заворачивай.

Я спросил писателя, как к нему обращаться. До этого неопределённо выкал. «Зовите, как хотите, хоть Негт Горенштейн». Сошлись на Фридрихе.

Сделав несколько пробных снимков, я предложил: «Фридрих, здесь темновато, пойдёте на воздух, погуляем». – «Почему нет?» – легко согласился он и на этот раз. Полез в шкаф, достал замшевый пиджак, стал охорашиваться. Пиджак в мои планы не входил. Я уже прочёл его памфлет про «товарища Мацу – литературоведа и человека» и прикинул некоторый фон для обложки. Это должна была быть стена, расписанная граффити. Таких замученных плоскостей в Берлине хватает. Мне хотелось вписать в граффити имена из памфлета. Как бы намекнуть на усталую и давнюю неприязнь автора к виварию этих персонажей. Что-то вроде памятника дедушке Крылову с его зверьём в Летнем саду. Пиджак не годился. Нужна была необязательная куртка. Куртка нашлась. Влезать в неё Фридрих не собирался. Препираясь (он: «Пиджак, между прочим, двести марок стоит», – я: «Ничего, ничего – куртка вас стройнит»), мы оказались на шумной улице, в сереньком берлинском денёчке и двинулись на поиски фона. Подходящий нашёлся довольно быстро, да ещё и с гранитной тумбой рядом, на которую я небрежным жестом швырнул свою куртку: «Садитесь, Фридрих». Он уставился на меня с подозрением. «Мина, – сказал я Полянской, – попаситесь где-нибудь в сторонке».

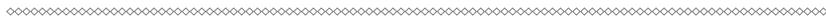
Мы о чём-то говорили. Я снимал. Прицеливался. Ждал главного кадра – и почувствовал его, когда Горенштейн сел на тумбу спиной к граффити. Я его спросил: «Почему у вас такое напряжённое лицо? – и, уже совсем от фонаря: – Вы, наверное, и материться не умеете». Он среагировал мгновенно: «Почему? Умею: хьюй». Сказано было с невообразимым акцентом, прелестным сарказмом, уморительным хулиганством и конечно уж – в мой адрес. Но и я среагировал. Нажал на спуск.

Снимок пошёл на обложку. На стене каракули неумных берлинских пачкунов. В них органично вписались кудрявые «автографы» персонажей Горен-

штейна. На переднем плане сам Горенштейн. Хозяин сюжета и жанра.

Было это шесть лет назад. Год назад он исчез. Ушёл в бессмертие. Что иногда случается с писателями. В каких он теперь облаках плавёт?

Берлин



Иосиф Малкиель – журналист, фотограф,
компьютерный график и дизайнер.
Родился 1940 году. Окончил филфак
Ташкентского университета.
Работал в республиканской прессе в Эстонии
Занимался редактированием и изданием
книг. В 1993 переехал в Германию.
Живёт в Берлине.



Татьяна Нелюбина

Отрывок из романа «Potsdamer и потсдамцы»

Еще целый час до начала. Выпить, что ли, шампанского? Сколько уж вернисажей прошло, а я всё трясусь, как в первый раз. Женщина нервничает, рано пришла. Осенние листья пахнут желтизной, но это обман, золотая осень миновала, наступила бурая, и всё равно, мороженный запах бывших жёлтых листьев чудно обманывает, на секунду кажется, что всё хорошо.

Что за привычка приходить не вовремя, а на час раньше. Целый час надо убить. Может, ударить? Нет, она столько сил вложила в этот звонок, вернее, в то, чтобы голос звучал бодро: «Встретимся после работы в кафе? К шести подойду». Встреча приближается, бодрость истаявает. А может, и не надо ни о чём говорить. Все, что она хотела сказать, она уже сказала себе, может, пусть всё идёт как идёт, она закончена. Надела лёгкие туфельки, долго думала, что надеть. Как понравиться?

Хорошо бы поехать на море. На самое синее в мире, Чёрное море мое. Она закрыла глаза, и синий цвет бурно хлынул, радостно.

– У тебя красный нос.

Она вздрагивает. До чего не везёт! Ждала, ждала, и вот, пожалуйста, не заметила, как он подошёл.

– Могла бы в кафе подождать.

Конечно, могла бы. Но ей хотелось опоздать минут на пять. Хотелось войти, оглядеться, беззаботно махнуть: привет!

Они находят свободный столик, садятся.

– Герд, – говорит она.

Он спрашивает:

– Кофе?

– Шампанского!

– Ты в своём ампула.

– Хорошо, кофе.

Они закуривают.

– Я вчера в гостях задержался и ночевал у родителей.

– Да.

– Что «да»? Почему ты мне веришь?

– Не знаю.

– Или думаешь, я не мог бы...
– Мог бы, конечно, мог! – Ещё чего не хватало, сейчас слёзы брызнут из глаз. Что он хочет ей доказать? Что не только ей нужен? А она станет доказывать, что и ей не только он нужен. В том-то и дело, что ей никто больше не нужен. В том-то и дело, что она больше никому не нужна.

Им приносят кофе.

Она набирается мужества:

– Герд, ты любишь меня?
– Если бы не любил, не женился.
– Что ты любил, это я знаю, но не знаю, любишь ли ты меня.
– Ты моя жена. У нас дом, семья. Что тебе ещё нужно?
– Не знаю, – она сглатывает. Не знает, что ей ещё нужно. Но что-то нужно спастись, пока не поздно.
– Герд, давай поедem куда-нибудь.
– Я работаю, понимаешь?
– Хоть ненадолго! Я думала, может... может, нам это поможет.
– Что поможет? – он гасит сигарету. – Что поможет? Живёшь, живёшь, думаешь, что всё хорошо, а оказывается, нужно куда-то ехать, чтобы что-то спастись. Если бы ты работала...

– Я работаю.

– Если бы ты работала каждый день, от и до...

– То что было бы?

– Времени не было бы думать о всякой чихне!

Он встает, расплачивается и уходит.

Она растерянно смотрит на чашку с остывшим кофе.

Вот и все.

Не надо думать о «чихне». У неё дом, семья. У неё муж Герд и дочка Ира. Они приехали в Потсдам в феврале. Снег лежал на черепичных крышах, скатывался катышками на кирпичных фасадах, собирался сугробчиками на ставнях. Прошло три года, и жизнь прошла, Герд её больше не любит. Они живут в Голландском квартале, в старом доме, который был им домом и вдруг перестал.

Эта женщина – я. Я справлюсь. Нужно только ждать. Нужно только ждать от секунды к секунде. Минута к минуте. Час к часу. День за днём.

Герд стоял возле нашего дома и что-то увлечённо рассказывал Максиму.

– Как живёшь, Настя? – спросил Максим.

– Ладно, я пошёл, – сказал Герд.

– Я еду на Рюген к родителям, – сказал Максим. – У них маленькая дачка, но места хватит. Поехали вместе?

– Поехали, – согласился Герд. Но не поехал, в последнюю минуту сообщил, что у него много работы.

А я поехала.

В моем бокале – чудесные пузырьки. Нос весело щиплет.

Я веду серьёзный разговор с журналистом, забыла, какой газеты.

– Меня заинтересовали ваши работы. Не скажешь, что акварель... У вас какая-то особая техника?

Отмывка. Я их отмываю, только не китайской тушью, а акварелью – почти прозрачным раствором. И снова, и снова – тоненькой кисточкой, пока в ней не останется три волосинки. О том, что некоторые приходится отмывать под красном, не рассказываю.

– Вот эта работа называется, – он читает, – «Ветер». Что вы хотели передать вашему зрителю в этой работе?

И правда, что? Ветер. И все летят. Чиновник с портфелем, старая дама за девушкой, девушка от неё, посинев на ветру, кружит над Голландским кварталом.

– Как жаль, что всё заканчивается. И этот вечер.

– А мне не жаль. Я рад, что этот вечер был.

– Да?

– Ты могла бы остаться.

– Нет, мне пора.

– Ты боишься. Ты удираешь.

– Да.

Я смотрю на зелёные холмы Рюгена. Море повсюду, куда ни брось взгляд, нигде нет выхода.

– Выхода нет, – говорит он и в который раз берёт последнюю сигарету. А демоны уже плетут за облепихой серебряные сети.

– И как там, на Рюгене? – спросила свекровь.

– Чудесно! – я принялась взахлёб рассказывать, она хихикнула:

– Ещё бы! Днём купались, а ночью грехи замаливали.

Я сначала не поняла, а когда поняла, пожалела, что замаливать нечего.

Герд, мне хочется признаться в любви! Ведь всё ещё можно исправить?

– Герд!

– Я сплю. У тебя свой режим, у меня свой, ничего не сходится.

– Герд!

– У тебя своя жизнь, у меня своя, я не могу сидеть с тобой до утра, как некоторые.

Я вдыхаю полной грудью, выдыхаю что-то сладкое, тошнотворное. Так страшно, так тяжело возвращение к жизни, нельзя просыпаться. Моя кровать поехала по коридору, по галерее – там люди, дома, весна. Время прошло, открой глаза! Глаза косят, в горле что-то, что нужно выплюнуть, нельзя раньше времени просыпаться. Нельзя шевелить ногой, левой нельзя, правой нельзя, мне не принадлежит ничего, только голова, чтобы это понимать, что плакать нельзя, нельзя шевелиться, встать нельзя, боюсь забудусь и встану. Руками двигать нельзя, они устали, устала спина, там жарко, левой рукой нельзя, там Герд, а правой можно, я ею рисую.

Герд стоит у меня за спиной.

– Что рисуешь?

– Мух.

– Мух? Хм. Мух.

Кладбище мух. Каждая муха – секунда моей жизни. Шестьдесят мух – минута, минуты падают на мой стол, взрываются маленькими пушечными ядрами. Я усердно ставлю кресты, оплакивая каждую умершую.

Смотрю, а мухи мои стали в стаю сбиваться, крыльями машут, и я вместе с ними машу, невысоко пока, над полом лечу, но лечу и радуюсь, что лечу, что был этот вечер на Рюгене.

Тушь разлилась, и получилось что-то совсем неожиданное, что-то такое, что в жизни не замолить.

На концерт Максима я поехала одна – Герд сказал, что у него нет времени. Мне иногда кажется, он толкает меня куда-то. Но в это трудно поверить.

Я волновалась до тошноты, пока не вышел Максим с гитарой, и успокоилась, как только он начал петь. Его хорошо принимали, и смотреть на него было хорошо, и слушать. Он пел песни из той своей жизни, которую я знала, как друг. Мы знали друг друга, как друг знает друга, и больше мне ничего знать не хотелось.

Потом мы катили по ночному Берлину и говорили, говорили – о концерте, о песнях, о том прекрасном мгновении, когда мне почудилось, я всё могу!

– Что?

– Всё, всё могу, такую силу вдруг ощутила!

– Какую?

Я засмеялась:

– Отчаянную!

Герд напялил комбинезон. Нам предстояло работать – крушить перегородки, отбивать штукатурку в нашем старом доме. Третье лето мы здесь ковыряемся, что-то крушим и долбим.

– Где же твой любимый Максимчик? Поболтать – тут как тут, а как помочь, так его нет?

– Он обещал помочь?

– Обещал.

– Значит, придет, – я тоже напялила комбинезон. Увидела на руке паука и завизжала. Ира прыгнула ко мне, скинула паука, захохотала:

– Ой, мамочка, какая же ты смешная.

– Принцесса, – хмыкнул Герд.

Я терпела, терпела, но не вытерпела и побежала отмывать руку с мылом и щеткой.

– Этот дом!..

– Не нравится, – хмыкнул Герд, – ищи себе другой.

Приехал Максим и в пять минут отколотил штукатурку, а я бы полдня отколичивала.

Было жарко, мы все покрылись трудовой корочкой. Герд, Ира и Максим поехали отмокать на озеро, а я по-королевски разлегалась в ванне.

Пусть у нас не было холодильника и стиральной машинки, зато у нас была ванна. Ванна-шкаф – наша дорогая покупка, роскошная! Хочешь искупаться – откидываешь ванну и наполняешь её горячей (горячей!) водой, блаженство неопишное. Ведь раньше мы ездили купаться в баню (пока её не прикрыли), или споласкивались у родителей, но в основном приходилось довольствоваться тазиком. А теперь! А теперь можно было лежать в ванне.

Я просто физически любила нашу ванну-шкаф – он занимал достойное место на кухне, которую даже неловко было называть кухней, такая она была многофункциональная. Мы здесь купались, готовили, ели. Здесь у окна стоял мой письменный стол, здесь я рисовала, здесь мы с Максимом столько лет разговаривали холодными вечерами. Кухня была и прихожей – отсюда мы попадали в Ирину комнату, а через её комнату – к Герду.

По замыслу Герда это жилище должно превратиться в две мастерские – Герда и мою. А на втором этаже, где мы уже столько лет всё долбили, крушили, должна возникнуть квартира. Как-то я тащилась домой и думала, что когда-то же мы наконец справимся с этой задачей? И поняла, что нам с ней не справиться.

Над плиткой аршинными буквами была написана Памятка.

Сегодня, как-то сказал Герд, придут гости к ужину.

Я спросила: во сколько?

Он сказал: к ужину.

– Ужасно неловко, Максим, я не могу.

– Настюшка.

Тихо, медленно, осторожно, губами, отвыкшими от других губ, руками, привыкшими к другому телу, я бережно прикасаюсь к нему. Переступить память, оказывается, не просто. Исподволь, из глубин существа, в котором я была замурована, поднималось жадное, отчаянное чувство, может, кроме памяти впереди есть что-то ещё.

Старые стены, сколько стоят, а мы – вспышка, огоньки слабые, раз и – родились, два – и умерли.

Сегодня ты познакомишься с Максимом, сказал Герд значительно. Вот ты его увидишь, про меня сразу забудешь!

Мы позвонили, и дверь открылась.

Так я и помню эту встречу: дверь распахнулась, за нею – космос. Входи. Да, вот так вот просто – всего лишь через порог переступи.

Герд после спросил: ну как?

– О, да, ответила я.

Говорил же тебе, схитрил Герд, у меня по сравнению с ним нет шансов! И возгордился, что – есть.

В космосе – холодно, грустно – в мире абстракций, и чудесно – в чувственных образах, Герд! Я зарываюсь в его разбойничью бороду, прижимаюсь горячей щекой к мохнатой груди и тоскую по той сокрушительной близости, по той родной, всепоглощающей близости, которая сразу нас поразила, едва мы с Гердом прикоснулись друг к другу, и то блаженное состояние счастья я помню так хорошо, что была б моя воля, я бы повернула назад.

Герд критически оглядел меня и сообщил:

– Этот купальник тебе не идёт.

– А мне твои плавки нравятся, – я растелила скатёрку для пикника. Максим растянулся в траве, и Герд поделился с ним своими соображениями, какие мы всё-таки – русские, нас за версту видать – круглые лица, курносые носы.

– И что, – спросила я, – тебя в нас ещё особенно привлекает?

– Просто не поймёшь, – продолжал Герд, – то смеются без всякой причины, то вдруг зарыдают. Сегодня одно, завтра другое. И всегда хочет на своём настоять. Я ей говорю: «Мало ли чего я хочу, но не прошу же банановый салат». Так она отыскала где-то эти бананы, нарезала мелкими ломтиками, подала с мороженым и взбитыми сливками. Я: «Что это?» Она: «Банановый салат». Только чтобы мне доказать! Я не стал есть, так она открыла окно и вышвырнула его во двор.

– Вышвырнула? – Максим засмеялся.

Герд расстроился.

Началась гроза. Она разразилась внезапно, тучи так и побежали по небу, спихнулись над нами с громом и молниями, и полило, дождь стоял сплошной стеной, а мы хохотали, умудряясь раздвинуть струи, и счастье, перестав быть блаженным, стало клокочущим.

– Так-так, – Герд ткнул в мой рисунок. – Понятно. Это ты, а это он. Поёт. Мне это не нравится. Мужчина какой-то тощенький.

– А если я ему пририсую животик, тебе понравится?

– Мне вообще все эти твои разводы тушью не нравятся.

– Да и я от них пока не в восторге... но ищу.

– Какой же это поиск – тушь по листу разливать.

Я откинула ванну, открыла холодную воду и смыла поющий рот.

Но он стал ещё притягательней.

Я уткнулась в манускрипт. Это был рассказ об одинокой старушке. Если мои рисунки к рассказу понравятся, их напечатают в журнале «Das Magazin».

А если нет, тоже переживу.

– Ты реши, как дальше, – сказал Герд. – Реши, до каких границ дойдешь.

– Но мы с тобой всё решили.

– Что мы решили?

– Что мы разводимся.

– Ага, твоя старая песня.

– А новой пока не придумала.

Герд затянулся, выпустил дым колечками.

– И что тебе это даст?

– Я тебе уже говорила.

– Ты много всего говорила. Скажи ещё раз.

– Что?

– Зачем разводиться.

– Чтобы хоть что-то спасти.

– Что?

– Воспоминания.

Герд покрутил у виска:

– У тебя не все чашки в шкафу.

Интересное выражение, сколько их должно быть? Шесть? Двенадцать? И если одиннадцать, то ясно, что не все чашки в шкафу. У моей одинокой старушки тоже все чашки разных сортов.

Герду нравится собирать черепки. Ими заставлена вся его комната – видна только тропинка к софе, на которой мы целую вечность назад любили друг друга, неистощимо, неистово зацеловывали друг друга до одурения, до полусмерти заласкивали. Но заканчивалась ночь, и заканчивалось что-то, что было жизненно необходимо и днём.

Старушка сидела у старинного шкафа и смотрела на чашки – с каждой были связаны какие-то воспоминания. Из этой папа любил кофе пить, а из этой – мама, их уже нет никого, а чашки остались, и старушка сидела одна, трогательно не признавая старости. Она не собиралась ничего вспоминать, она... она собралась на свидание! Надела миленькую шляпку с пером и села в трамвай. Вернее, не села – места не уступают, – а ехала стоя, болталась, как все, держась за верхние ручки. Трамвай встряхнуло, и старушка уткнулась в подмышку женщины... ну и дух из небритых зарослей, едва не помутилось сознание. А ведь женщина вполне симпатичная, но косметики не признаёт, мол, пусть муж меня любит, как есть. Но кому же такое требование по плечу? Может, матери. Муж любит свой образ, свой идеал, и немножко потворствовать ему в этом невинном заблуждении – только способствовать взаимному чувству. Укутаться в его идеал, как в облачко, чтобы внутри оставаться самой собой.

Я старалась понравиться Герду, укутывалась. И так доукутывалась, что он меня разлюбил.

Старушка с трогательным перышком в шляпке подходит к кафе. Достает из сумочки пудреницу, наводит милье губки.

– Неужели не было ничего хорошего? – спросил Герд.

– А разве было? – спросила я.

– Было.

– Что? Скажи, я хочу знать.

– Наш дом, наше гнездо. У меня никогда не было своего гнезда.

Нет, здесь мы никогда не сойдёмся, я этот дом ненавижу. Гнездо!

Было полнолуние, время гиблое для каких-то там выяснений, но в самый раз для открытий. В лунном свете лоснились склеенные черепки, корешки книг, толстые папки, фотографии, старые чертежи Голландского квартала. Всё здесь имеет своё значение, свою важность, свой, скрытый от меня, смысл, а я топчусь здесь, как слон в посудной лавке. Старушка оглядывается, она пришла на свидание, пришла навстречу судьбе, волнуется – она пришла на свидание по объявлению. Он её сразу узнает – у неё шляпка с пером. Она закинет ногу на ногу (пока это ей ещё удастся), возьмет сигаретку и подождёт, не сводя с него влюблённого взгляда, когда он поднесёт ей огонек. Ах, вы не курите? И не пьёте, и не... Не любовник, так друг, друг в её годы тоже неплохо. Что? Он с серьезными намерени-

ями? Но, позвольте, на свидания ходить так приятно, а муж, она ещё улыбается, он всегда дома!

Линии в карандаше были лёгкими и живыми, в туши они тоже могли быть живыми, если повезёт и получится, но нужно ещё , чтобы получился рисунок. Композиция – вообще дело темное, как объяснял нам профессор по живописи, композиция – это... он искал слова, но не находил. Просто пишите! Пишите и смотрите, смотрите и пишите, потом сами поймёте.

Ночью хорошо рисовать – никто не придёт, ничего не скажет. Максим – тоже ночная птица. Мне приятно знать, что я не одна, что и он не спит.

Ничего у нас не выйдет хорошего. Ну и пусть, пусть хоть что-нибудь.

– Мам, знаешь, сколько мы уже живём в Потсдаме? Зимой будет четыре года.

– Четыре года!

Наш скрипучий, старый дом той зимой пах всеми сказками Андерсена, и сердце разбухало от счастья – наконец-то мы вместе, наконец-то всё позади!

Мы жили прекрасно, весело, дружно. Дома говорили по-русски, на улице... руками размахивали. А я-то думала, у меня не будет проблем с языком – в школе учила, в институте. Но ни я никого не понимала, ни меня никто не понимал. Первые полгода прошли в полной звуковой изоляции. Я улавливала какие-то отдельные слова, но не могла их связать, и пока переводила в уме первое предложение, говоривший уже добирался до энного и ждал, что я скажу. А я – ни в зуб ногой. Как-то к нам пришли друзья Герда, и мы разговорились с одним художником – он нарочно медленно говорил, чтобы я понимала. Я понимала, пока мы не дошли до слова шикзаль. Шик – это шик, заль – это зал. Шикарный зал? У него будет выставка в шикарном зале? Или он собирается написать картину «Шикарный зал»? Я хотела посмотреть в словаре, но он не дал. Взял бумагу, карандаш, нарисовал человечка, объяснил: это Герд. Нарисовал ещё одного, в юбочке: это Настя. А между ними – этот самый шикзаль. А, догадалась я. Судьба! Шикзаль – судьба!

– Судьба! – обрадовался он. – А теперь расскажи, чем ты занимаешься.

Чем я занимаюсь? Мы с Гердом бережно, трогательно, страстно, самозабвенно, нежно и горячо любили друг друга.

В общем, я занималась тем, что просто счастливо жила.

– Ой! – Ира подпрыгнула на одной ножке, потом на второй. – Завтра будет ровно неделя, как через неделю и месяц будет мой день рождения! Вы уже знаете, что мне подарите? Если ещё нет, то давайте подарим мне...

– Что это? – спросил Герд.

– Где? – спросили мы.
– Вот, – он показал на книжную полку.
– Ты не успел докрасить эту откидную дощечку, и мы её докрасили.
– Я нарочно её так оставил, хотел, чтобы она была натуральная. Она из натурального дерева. Продумал, как всё должно выглядеть.
– Ты хорошо всё продумал.
– А ты всё испортила.
– Ведь вся полка выкрашена в чёрный цвет, а эта дощечка...
– Тебе обязательно нужно всё испортить.
– Хочешь, чтобы я отскоблила эту чёртову краску?
– Её уже не отскоблишь. А было натуральное дерево.
– Мне смертельно жаль, что я испортила наши чёртовы полки.
– Это не наши полки.
– А чьи?
– Мои.
– Это наши полки с нашими книгами...
– Это мои полки с моими книгами.
– ...в нашей комнате, в нашем доме, на нашей улице, в нашем городе, в нашей...
– Перестань!
– ...стране, на нашей Земле.
– Мам, – Ира расстроилась, – мы с соседским мальчишкой тоже сначала встречаемся, как дворняжки... разной породы. Приглядываемся, молчим. А потом ничего – как все дворняжки независимо от породы бегаем туда-сюда.

– Ты расточительная, – продолжал Герд. – Сколько зарабатываешь, столько и проживаешь. Меня ещё в Москве удивляло – денег нет, а покупают и мебель, и машины, и дорогие вещи.

– Я не покупала мебель.

– Я вообще о русских говорю.

– А.

– Вы любите шикануть. И шампанское пьёте, хотя у нас его пьют только на Новый год, и пельменей настряпаете, так тут же их и съедаете, хотя можно было бы оставить на завтра.

– На завтра?!

Скупость – национальная черта? Или особенность отдельного человека? До сих пор я заменяла понятие «скупость» другими – бережливость, нерасточительство, нерасположенность к тратам. Но сейчас я разозлилась.

– Послушай. Придёт время, и я буду так зарабатывать, что ты пожалеешь об этом гнусном разговоре.

Я просто так сказала. А он – поверил. Сказал примирительно:

– Ты всё усложняешь.

– Да, наверное. Герд, давай я съезжу в Москву.

– В Москву? Значит, ты хочешь, чтобы я тебе письма писал? – он улыбался, уже успокоенный. – Не надо уезжать. Тебе совсем неплохо со мной. Мне же хорошо.

А мне захотелось домой. Над Москвой небо – огромное! А в Потсдаме оно, как крышечка от кастрюльки. Вечером город мёртвый, даже окошки не светятся, а в Москве – оживление, нарядный народ спешит в театр, и все – так легко и свободно! – говорят на моем родном языке.

И стала я плакать. Сначала – из-за пустяка, что вот и прошёл ещё один божественный день, ещё один день в моей жизни, который не повторится никогда, и прошёл впустую, в ссорах. А потом уж я стала реветь от вселенской тоски, которую здесь называют «русской».

Герд пожаловался:

– У тебя хобби – рисовать. А у меня хобби – фотографировать, но мне некогда этим заняться.

Я смолчала, но потом всё же спросила:

– Зачем тебе это нужно?

– Что?

– Так говорить.

– Как?

– Что рисование – хобби.

– А что же ещё ?

– Ты прекрасно знаешь что. Это моя жизнь.

– Но ты архитектор.

– Была.

– Если ты по призванию художник, то почему пошла в архитектурный?

– Чтобы у меня была профессия, которая меня кормит.

Он хлопнул дверью.

Я ждала его, он не пришел. Ночь была длинная, длинная. Я считала секунды, минуты складывались в часы, и под утро я, как часть «мы», перестала существовать.

Мою старушку напечатали! И прислали ещё один манускрипт! Я была сама не своя от радости и делилась ею с Максимом.

Мы забрели на пустынный пляж. Шуршала осока, камушки перекатывались в редких волнах.

– Это, – заверил Максим, – от Бога. Талант – Божественный дар.

А я ни о чём божественном и не помышляла. Моя женская суть разлегалась среди скал, среди этих мокрых камней и безгрешно жаждала ласки. Солёные волны омывали мою безгрешность, а Бог говорил, что гореть мне в вечном огне, не утолив желаний.

– Настя, почему ты молчишь?

– Потому что не знаю, что сказать. Когда-нибудь потом скажу... когда поумнею.

– И когда ты поумнеешь?

– К старости. К старости точно поумнею.

Максим засмеялся:

– Как хорошо нам вместе будет жить. Работать и думать. Видеть мир твоими глазами.

Я проверяю, всё ли на месте, всё ли так, гости потихоньку подходят. Один из прилежных посетителей (он всегда приходит на мои выставки) говорит:

– Мне так нравятся ваши работы. Такие необычные. Не скажешь, что графика, что акварель, и не карикатуры это, и не абстракция, а...

Он ищет слово, я жду. Он его не находит и с надеждой смотрит на меня, может, я подскажу?

Я подсказываю:

– Cartoons?

Он прищелкивает пальцами: вот-вот!

Татьяна Нелюбина – прозаик, художник, член Гильдии деятелей искусств (die Künstlergilde) Германии.

Родилась в 1951 году в Екатеринбурге. Окончила Свердловский архитектурный институт и аспирантуру Московского архитектурного института.

Работала заместителем главного архитектора города Новоуральска, преподавателем

Свердловского архитектурного института, экскурсоводом в Потсдамском Сан-Суси.

С 1987 года – свободный художник. Автор многих публикаций по архитектуре национальных парков. Лауреат архитектурных конкурсов. В 2002 году издан её первый роман «Оракул в подоле», в 2003 году – второй: «Potsdamer и потсдамцы».

Живёт в Берлине.

Борис Рохлин

Б-А-А-Б-О-О-К

– Какой же тебе соли... аттической?

Ф.М. Достоевский «Бобок»

Письмишко, письмецо, письмо, письмена. Как октавы. Интервалы между и восьмая ступень гаммы, без гаммы никак. Но не уложился.

Жизнь оказалась короче. Дядя Тоби заметил, что параметр и полупараметр конического сечения...

Пришёл Алик, не тот, другой. Первый – из простых. Второй – из князей. От Ягайлов и Ядвиг. Если не врёт. Откуда знает, не говорит. Тайна в тумане времени. Работает барменом. Доволен очень.

Чаевые. Выпивка круглосуточно и бесплатно. Какая удача для потомка княжеского розлива.

В Разлив не поехал и шалаш не посетил. Отказался. Вождя не одомашнил. Не успел. О причине умолчал. Сделал вид: очень хочется, но. Сожалею страшно. Поверили и отпустили на все четыре. Без занесения в личное.

Пошёл в ту, где выпивка. К столикам и пиво бутылочное. Сосиски горячие дополнительно. Всё к услугам трудящегося. Официантки вежливые, в накрахмаленных передниках. Из Прибалтики. Корректны и лёгкая чопорность. Клиент не зарывается после третьей охлаждённой или с подогревом. Иначе перейдёт на «ты» и фамильярничать.

Нет уж, увольте. Дома муж. Картина «Сельский вид. Корова на закате.» Обойдёмся без ухажёров. Народ ветреный и ненадёжный. Лучше при своих оставаться. Меньше, зато гарантия. Пока. Дальше можно посмотреть.

Жизнь-то без продолжения. А письменность своё имеет. Остановился на последней. Приятнее. Заслоняет от быта. Быт давит. Хочет быть главным. Не получится. Есть буквы, частокол. За ним отсидимся, пока минует. Я уж такой, на этом стою. Я здесь стою и не.

Читал китайцев. Любят детей, маленьких. Чтоб в коротких штанишках вплоть до. Я тоже хотел бы. В коротких штанишках. Не вышло. Утешился беседой двух философов. Над вечным покоем. О гениальном.

Обратился к редким и забытым словам. Меледа – канитель, менада – вакханка,

метресса – любовница. Ко мне не относится. Содержанок не имею, чтоб канители не было. Вообще, я к дамам почтительно, но не без опаски. Риск обжечься всегда присутствует.

Проходил мимо. Зашёл к мистагогу. День воскресный. Делать нечего и из любопытства. Удивлён не был, будто ждал. У окна и когда загляну. Вопросов не задавал. Знал, зачем. Наставил в таинствах и посвятил в неведомое. Хвастаюсь в кругу приятелей, не называя источника. Мол, такой и сам дошёл. Не верят. Советуют к психиатру, но не прямо. Косвенно и намёками.

Решил обратиться к Великому Моголу за финансовой поддержкой. Человек интеллигентный и играет в шахматы. Помощь окажет, но... останется осадок и недоверие к жителям. Невского Петрополя, Персеполя, Некрополя? Надо подумать, что привлекательнее и не вызовет недоумения.

Размышляю о поэме в прозе. Должна излиться сама и без вмешательства извне.

В Токсово при станции открылся ларёк. Пивной. Поехал и не пожалел. Пиво не разбавили, не успели. Была солёная сушка и сметки. Время провёл на травке. Растёт на глазах. Приятно смотреть и захотелось жить дальше.

Познакомился с вакханкой. Далеко дело не пошло. Беседовали. Кое-что узнал. Из женской жизни. Не забыть бы. Когда платонически, больше доверия. И тянет высказаться.

Опять пришли буквы. Не ожидал, но запись сделал. На спичечном. Другого материала не оказалось. На пивной трудно, да и смоеется. Когда мыть будут. Привожу в алфавитном порядке: выкомуры – затейливость в речи; до смысла – никак, сокрыт и глубоко, но приятно, прикасаешься.

Гиперборея – из географии, обитали на севере, крайний и неведом, но и на юге можно себе что-нибудь отморозить.

Доппель-кюммель – сладкая анисовая, с приправами.

Ерундопель – салат из икры, рыбы и овощей. Удачно получается. Как раз закуска к анисовой. Ничего, что сладкая. Мы без претензий.

На улице дождь и не выйдешь. Галош нет. Верка-дура сдала в починку. Было бы что. Придётся с ней развестись. Давно подумываю на эту тему. Готовлюсь. Главное, удачный момент выбрать, чтоб избежать. А то! Ой-Ой-Ой!

Посетил свадьбу одного лица. Отдалённо знаком и был приглашён.

Гости, – на свадьбах всегда так, – разные. В повседневной вряд ли сталкиваются. Уловил, многих и хозяин не знает. Наблюдал и сделал некоторые заключения. О том, о сём. О жизни, о женихе в частности. Женится в который и обряд знает до тонкости. В возрасте, лысоват.

Но одет!!! Сразу видно, возможности неограниченные и вкус. В подарок невесте – особняк. Небольшой, но с видом. Подходил к окну и не раз. Любовался.

Он и сам интересный. Много повидал и был. Остался отпечаток. След. И

начанаешь задумываться. Правильно ли? Правильно. Невеста так себе. Блѣленькая на личико и волосики. Да и фигурка – хрупковата и просвечивает. Зато молоденькая и в брачный союз изволит впервые. Мне по душе формы округлые. Взглянешь и взвесить хочется.

Гостей было много, и всё приходили. Думаю, без приглашения. Стол богатый, на всех хватило. Симпосий, застолье, трапеза, – как уютнее, не знаю, – были в разгаре. Но без. Молодожёны удалились. Сделал предположение – в спальню. Ошибся. Мысль подправили: улетели на морской и южный, с пальмами и прочим. Сейчас так принято.

Было весело и уходить не хотелось, но почувствовал. Выпил лишнего. Не удержался. Уж очень много было разного и на любой вкус. Пошли теперь новшества. Иногда теряешься и не знаешь, реагировать или воздержаться. Ускользнул незамеченным. Довольно поздно.

Сегодня была Людка. Веркина подруга. Вернулся с прогулки, а она тут. Гуляю по Новой Голландии, набираюсь впечатлений. И пейзаж в стиле. Переношусь в другой век и временно отсутствую.

В этот раз недолго. Погода слякотная и без галош есть опасность. Простудишься и сляжешь с высокой. Вижу сидят. И на столе кое-что. Людка – приятная женщина. Всегда люблю. Роста большого, в очках. Оригинальная. Мужской тянется. Не без взаимности. Понимаю. Есть что. Но я с уважением, как к другу. К тому же у меня Верка.

Я вообще стараюсь всё время в движении быть. Узнаёшь много нового и неизвестного. Иногда даже избыточно и ни к чему.

Зашёл как-то в один дом, ненароком, и не собирался. Дверь открылась гостеприимно. Двери по-разному открываются. Давно заметил. Здесь – нараспашку. Не успел снять шляпу, предложили в два смычка. Признаюсь, не понял. Когда объяснили, отказался. Вежливо, разумеется.

Я по натуре вежливый. Со всеми. С животными, птицей, насекомыми. Люблю поговорить. Не проповедую, разговариваю. Понимают. Отверг, потому что не моё. Ни в два, ни в один. К тому же у меня Верка. Дура, но ответственность.

Провёл время уединённо и остался доволен. Пил коньяк, – название вот забыл, жалко, – и думал о разном. Мыслей много да разбегаются.

Собирал их и складывал. Когда рассвело, обратил внимание. Пора, и Верка ждёт. Или спит крепко. Она сонливая, стоит только прилечь. Надел галоши. Опять при мне. Сам забрал. От Верки не дождёшься. Всё на ходу забывает. Как новые. Мастер попался, понимает. Редкость по нынешним временам.

Вышел. Промозгло, но есть утешение: улицы, вид с моста и не только, – множество и разное. Стараюсь беречь и не торопить время. Наоборот, придерживаю по возможности.

Вернулся немного утомлённый. Но по-хорошему. Переступил робко и света не зажигал. Верка спала. Сразу воодушевление и подъём. Тихо, на цыпочках, – дыхание оставил за дверью. Обнаружил забывчивость, не снял галоши. Поставил на нижнюю книжного, где не было. Чтоб избежать шума. Всегда против. Семейная жизнь должна протекать тихо. Без суеты. Когда-нибудь да закончится. Не знаешь, утешаться или огорчение. Но торопиться ни к чему. Можно, конечно, сбежать. Через окно, например. Благо, крыши. Ставень открыл, преодолел и свободен. Но Верку жалко. Дура, но. От меня проку никакого, сознаю. Однако, символически. И что скажут? Кто, не знаю. Кто-нибудь. Без этого не обходится.

Прилёт. Думал, усну... Нет, как всегда. Стоит прилечь, начинается. Вспомнил Веркин день рождения. Проводил гостя до входной. Возвращаюсь. А Василий Верке ноги целует. Сделал вид. Она в кресле, он на коленях стоит и целует. Но я вид сделал. Я всегда вид делаю, когда.

Лучше к словесности обратится. В ней всегда неожиданность и перспектива.

«Слушали по повелению его сиятельства господина генерал аншефа и разных орденов ковалера графа Петра Ивановича Панина, коим конторе на представлении знать даёт, за какими притчинами его сиятельство не в состояни исполнить высочайшаго ея императорскаго величества повеления... Приказали: в сходствие оного поведения...»

Слог какой и орфография, но мимо. Чувствую. Хотя если постараться и думать с пропусками, то прошлое предстаёт неожиданным и в оперении. Красиво.

Интересно. Не ожидал. Удивлён и интригует. Верка ушла. Нет, не.

Уехала. Вот чистая душа! Знает, думаю. И сообщила.

Галоши при мне. Любая погода доступна. Сейчас в основном размышляю об общей и частной природе наций, народов, поголовьи пернатых и членистоногих. Хотелось бы заложить основания новой науки о приматах. Они милые, с открытым сердцем и без задних. Видел в зоопарке. Не просто, но помогает. Времени свободного меньше. Я давно разрешил бы эту задачу, задумчивость мешает. Часто впадаю и не выйти.

Решил посетить Людку. Из сентиментальности. Имеет отношение. Да и приглашала. Отвлекись, – говорит, – есть на что. В пятницу лучше всего. В субботу никто никуда не торопится. А мне и во все дни недели торопиться некуда. Прибыл вовремя. Была не одна. Знакомить не стала. Мне всё равно. Я не любопытный. Предоставила самому. Не торопись, – говорит. Сколько захочешь, столько пожалуйста. Но её – не беспокоить. Дал слово и сосредоточился.

Затейливый оказался мир. Забыл обо всём. О Верке тоже.

Вначале лестница, широкая, как Невский. Покрыта ковром с леопардами, попугаями, павлинами. Лемуры, грифоны орлиные, рогатые люди, люди с глазами спереди и сзади, пигмеи, сатиры, кентавры, фавны, гиганты, птица феникс...

Попа́л в музей изобразительный. Картины, скульптура в мраморе, дереве и бронзе, витражи и что-то имени Синаххериба. Не силён, не уяснил доподлинно. Вероятно, ошибка.

Пошли рыцари. В доспехах и с мечами. Сразу понятно, жизнь их – героические поступки. Совершат, по домам не расходятся. Совершают снова. И так всю жизнь. Рыцарь – не чета японскому самураю. Тот всё пешком подвижничал. А рыцарь на коне. Сером в яблоках или другой масти. При нём оруженосец. Рядом и нераздельны. Прекрасная дама присутствует отдалённо, как идеал. Дамы были представлены в непомерном количестве. Личики не привлекали. По глазам видно, забывают быстро и не хранят. Обязаны, но не делают. Старятся и умирают, не дождавшись.

Не заметил, как неожиданно и вдруг, без перехода – доходные дома, фабрики, каналы, церкви, кладбища. Последних особенно много.

Странно смотреть. Черта городская – и вот.

Зал генеалогический. Предков Алика не видел. Пропустил, конечно. Больно много.

Воздухоплавание, аэронавтика, аргонавтика, нумизматика. Такое чувство, что когда-то здесь был. До Верки или ещё до.

Дары природы сменили сирены и наяды. Плещутся, хохочут и все на Верку похожи. Очень зазывно. Признаться, не думал, сколь соблазнительно. Хотел дотронуться, настоящие или кажутся. А одна, что ближе, как врежет. Не понял, ногой что ли. И проснулся.

Уснул на скамейке. Разбудили властные структуры. Так нынче в лексиконе. Хотели с собой. Но взять нечего. Галоши разве. И отпустили. Вот она, задумчивость! Хорошо, положительные попались, а то...

Встал, огляделся. Тихо, глухо, сыро. Сиренево. Снега навалило и продолжает. Дома стоят молча. Аптека, продуктовый. Фонарь робко и поблизости освещает. Галоши при мне. Раскрыл зонтик и пошёл. Куда? – спросите. Умолчу. Потому что и сам не решил. Ещё.

Воскресенье По Гринвичу

Папиросный дым поднимался и таял. Пахло пылью старых вещей и чем-то приторно-сладким. Густой розовый запах обрекал людей на суету и многословие. Каждый старался подтвердить своё присутствие и необходимость. В столь ответственный момент.

Слова долго, бестолково плутали по углам и закоулкам квартиры и возвращались к усопшей. Ненароком и нехотя.

Вещи, о которых они говорили, были просты. Тайнственному не осталось места в этой пухлой розовой комнате.

На стульях с высокими резными спинками сидели женщины. Ещё одна лежала на кровати, ненужная себе.

На кухне торговались. Продавали и покупали ситец. Яркому, пёстрому, ему предназначено было нежить покойницу. Он годился скорее живому и весёлому телу. Но соблюдали выгоду и избегались хлопоты. Сделку заключили, скрепили обменом. И мёртвый сделал подарок живым.

Всплакнули. Открывали, рылись, считали. Покойница была одинокой и наследников не имела.

Мебель томилась от подсчётов. Люди напрягались, краснели, делали ошибки. Снова считали. Жизнь текла. Розовый запах не мешал ей.

Она лежала важная и солидная, гораздо более солидная, чем при жизни. Не дышала да и не могла.

Воскресенье было похоже на прошлое, на все прежние и будущие. В наступающем вечере ровно гудели голоса, отдыхая от трудов и усилий. Люди садились ужинать. Тихо и обречённо дышали в предчувствии близких забот и горестей.

Никто не приезжал. Не было тех людей, которых ждали, чтобы они забрали лежавшую и освободили всех от долга вежливости и печали.

Пришла соседка, разлила по тарелкам щи.

Ели на кухне. Было тесно. Но туда не добрался сладкий розовый запах.

Тарелки были маленькие, щи кислые и горячие. Водка холодной. Она обжигала. И дышать было трудно. Ели медленно, жалея себя. Но что делать с собой не знали.

Щи были съедены, водка выпита. День окончился темнотой и вечером. Все разошлись по домам. Каждая взяла с собой часть скончавшейся жизни. Семьдесят прожитых лет разносились шаркающими ногами немолодых женщин. Глаза они утирали кончиками платков. Там были слёзы, которыми поминали усопшую.

Машина приехала около двенадцати, и санитары – две маленькие старушки – завернули тело в простыню и подняли. Но силы уже не было в них. Они тащили его по ступенькам и очень устали.

Банальная История

Уж было поздно и темно;

И ветер дул...

А. С. Пушкин

Не женщина – лань. Живу с ней, в доме с номером. Описывать не буду. Все одинаковы: и дома с номерами, и улицы, и возлюбленные.

Давно ничего не делаю, противно и раздражает. Лежу на диване и читаю, или размышляю. Впрочем, всё вздор. Не Обломов, но расстаться с диваном – ни за что и никогда. Хватит с меня окружающей.

Этаж двадцать первый, пейзаж городской, свалочный. Но притягивает странством.

На днях столкнулся с открытием то ли материка, то ли острова. Кто открыл, сами не знали что. Приплыли и открыли. Прибытие не предвиделось, и никто не встретил. Согласно протоколу и правилам гостеприимства. Мореплаватели не огорчались и стали осваивать.

Пришла моя. Курит сигары, дрянные и много. Говорила долго, наверное, упрекала. В чем, сказать не могу. Отключаюсь и делаю вид. Ушла, хлопнув дверью. Так всегда. Жизнь семейная. Но расставаться не хочу. Бывает надобность. И оживляет существование.

Вчера был четверг. Значит, сегодня пятница. Да, конечно. Пятница. И Робинзон Крузо. Как они там без меня?

Побывал в стране Офир. Ходил в разбойничий поход на двух кораблях. Разбогатель страшно. Прожигал жизнь и узнавал разное. Оказалось, радость и ничего более. Загрустил. Три раза руки накладывал. Попал в психушку. Место – лучшего не придумаешь. Остаться б навсегда. Да очередь и ждут.

Она придёт, расскажу, что видел и где побывал. Стоит или нет? Оставляю про себя. Много времени прошло: три года на разбой, два на разгул. Не поверит, обидно.

Фотограф один, – знакомы были, слегка, – мыслями вслух делился. На свалке наши. Ему повезло. Хоронили без музыки и речей не было.

А он что говорил? Снимать – говорил – словоч можно, но полюбить... Я и сам не верю в то, что говорю. Важно другое – я говорю именно это. Человечество следует немного сузить... до человека, а нищета – непозволительная роскошь.

Погода за окном этажа тусклая. Ни света, ни тени. Дождь со снегом и ветер. Один вид – свалка. И кто-то бродит и бродит. Туман размывает перспективу и скрашивает пейзаж.

Я слишком долго отсутствовал. Отсутствую и сегодня. Это моё призвание.

Не ждал. Она пришла. Обрадовался искренне и очень. Сразу с вопросами и срочно ответ. Так нельзя, забыл, да поздно опомнился. Тяжёлая пепельница пролетела мимо уха.

Однако. Такое уже было. В каком-то городе с плавающими каналами, мятущей рекой и повисшими в голом воздухе мостами.

За окном всё в порядке. Свалка на месте и похорошела. Её покрыл снег, белизны необыкновенной. К тому же солнце. Сверкает и переливы.

Моя не приходит. Ищет убежище от жизни. Появлялась она и исчезала неожиданно. Всякий раз и ей и мне казалось, что навсегда.

Время идёт. Сужу по погоде за окном. Зима кончилась. Весна в цвету. Было когда-то. Крепдешинные платья и бегут против ветра. Берег моря, золото песка. И пепельные холмы на горизонте.

Елена Тихомирова (Мадден)

1. Анна Альчук и «Классическая Традиция»

(о поэтическом вечере 9 октября 2006 года, в Берлине)

Анна Альчук – член основанной Сергеем Бирюковым «Академии Зауми» и лауреат Отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка – имеет отношение практически ко всем наиболее известным изданиям, проводящим экспериментальную (пост-авангардную) линию русского стиха. Стихи поэтессы печатались ещё в самиздатском «Транспонансе», их можно найти в журналах «Футурум АРТ» и «Дети Ра», в «Журнале ПОЭтов» и в альманахе «Черновик» ...

Публика хорошо восприняла поэзию Альчук, однако обсуждение обнажило некую растерянность слушателей. Большинство явно затруднялось найти этим стихам место в литературе. Стоит ли удивляться... Пульс литературного процесса в Берлине почти не прощупывается, здесь нет разнообразия поэтических течений, нет группировок, выработавших какие-либо литературные манифесты. Видимо, потому публика и пыталась дознаться у самой поэтессы, к какому направлению она себя относит и что думает о развитии классической традиции.

Между тем, для писателя имеют значение имена, а не абстракции-термины. Любой литератор бессознательно избегает определений: не хочется быть пойманым в эти сети... Или запутаться в них: в литературе нередки случаи, когда «архаисты» оказываются «новаторами», а идущий вперёд поэт – повторяет давно прошедшее. Об этом говорила и Альчук на встрече. Имена же – с готовностью назвала: Ры Никонова и Сергей Сигей, Константин Кедров и Елена Кацюба, Наталия Азарова, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Геннадий Айги и Глеб Цвель. А также – предшественники: футуристы Хлебников, Маяковский, Кручёных.

Но почему сегодня литературная машина времени возвращается именно в тот момент поэтической истории?

Имеющий уши да услышит.

Слышны были – «маяковская» любовь к «хорошим буквам – Р, Ш, Щ», отголоски поэтической «зауми» и «языкотворчества», «звучарной поэзии» и «сдвигологии» (сдвиг деформирует речь, так что она получает двойной смысл). У Альчук слог, как бильярдный шар, разбивает коснеющий в инерции стих. Часть слова тяжелеет, обособляется, набирает разгон – и задает новую траекторию

смысла. «Д-верь» – удерживает на пороге веры, и полёт «в небо» вдруг оборачивается падением

в (не

Бо

г).

Впрочем, бильярд (игра на победителя, точный расчёт) – не самая удачная метафора этой поэзии. В стихах Альчук властвует почти растительная органика: здесь, как в чаще, слова, слоги и звуки переплетаются, борются за существование, разветвляются и срastaются...

Слово заново ищет свои границы, учится ощущать себя, сопротивляется инерции смысла. (Кстати, о сопротивлении материала писали близкие к футуристам теоретики литературы.)

В 50-е – 60-е авторы «конкретной поэзии» вновь попытались изменить отношение к материалу стиха – к слову. Они отказывались видеть в нём всего лишь инструмент идеи и объявляли о любви к слову, «как оно есть». К слову – из быта. Но и – к звучанию слова, к его графике. Так возрождались визуальная и голосовая поэзия.

Пожалуй, текстов исключительно «для глаза» у Альчук не так много. Большинство её стихов – по меньшей мере на 50 % «поэзия для слуха». Манера чтения «по слогам» (где некоторые – ударные – меняют направление стихового потока) позволяет уже на слух воспринимать движение стиха. Слушатель, так сказать, усваивает мелодии – контрапункт же, «логика» созвучий, остаётся «на потом», для восприятия глазами. Чтение углубляет – усложняет переживание этой поэзии; однако представление о самом порождении этого стиха (о живых, органических процессах в нём) вполне можно составить уже «в первом приближении» – со слуха.

На одном из вечеров «поп-стар» русской постмодернистской критики Вячеслав Курицын упрекнул поэтессу в том, что в её стихах мало «тела». Курицыну возражал один (бывший) питерский поэт: язык тоже тело (в доказательство диспутант показал собственный язык). Возражение справедливо: Анна Альчук – одна из тех авторов, у кого поэтический язык и стиховое слово снова обрастают телом, плотью, наполняются кровью, возвращаются из царства теней.

Более того, стихи Альчук оставляют стойкое ощущение, что слово заново пробивается к своему двойнику-логосу и снова стоит на пороге (у «дверей», опять-таки) смысла. Пусть даже этот смысл – ужас «звезд(ды ры)», смерти и Пустоты («Посвящение Джиму Моррисону-Вэлу Килмеру»).

Когда наступило время «сорофеевых» и литературы «для славистов», целое читательское поколение отвернулось от литературы. Не желая потреблять то, что было уже много раз съедено и переварено... Кажется, поэзия Альчук – для этих читателей.

Но это в России. А в Германии население орднунг любит, порядок то есть. Если в местах скопления публики неизвестный зверь разгуливать будет, что случится? Правильно, сразу полиция приедет, начнёт выяснять, кто да чей да почему без поводка и намордников.

А то в зоопарк заберут или в институт для исследования...

Кстати, даже и в России зверей хозяева на поводке водят.

Головы понурились. Русская засопела и пробормотала что-то вроде того, что у неё хозяев нет.

– А давайте мы его в клетке понесём! – предложил Саша. – Гулять-то надо...

Английская голова презрительно фыркнула. Немецкая понурилась. А русская покраснела – явно от гнева – и, похоже, готовилась к ссоре.

– Да нет, Змеюша ведь наш друг, – вмешалась Настенька. – Разве друзей в клетку сажают?..

Настенькина идея была – выдать Змеюшу за верблюда. Одна голова пусть торчит себе, а другие две прижмутся к спине. Попону набросить – чем не верблюд двугорбый? Та голова, что на свободе, может меняться с другими: будут высовываться по очереди подышать и город посмотреть.

Головы молчали с кислыми минами. Видимо, быть верблюдом Змеюше не хотелось.

Думали, думали, ничего умного не придумали.

И просто посадили Змеюшу в корзинку, а на спинку набросили покрывальце. Решили: если кто спросит, сказать, что в корзинке три ящерицы.

* * *

День был весенний, тёплый. Змеюша в восторге вертел головами.

– Змеюша, давай мы тебя потеплее укроем, – ворковала Настенька.

Немецкая голова глянула вопросительно. Русская на предложение не обратила внимания. Английская с достоинством отказалась:

– No, thank you, it's warm enough!

Случилось так, что последние Змеюшины слова услышал один ребёнок. Он, кстати, давно уже проявлял интерес к корзинке. Глазел на головы, прислушивался.

Когда английская голова произнесла своё: «...warm enough!» – ребёнок вздрогнул и отшатнулся. Глаза его расширились, и он заорал в ужасе:

– Es ist ein Wurm! Und er spricht!

Все дети, что играли поблизости, бросились врассыпную.

– Эй, да вы что?! Какой червяк? – кричал им вдогонку Змеюша-русич. – Я просто иностранец, гость!

Тот ребенок, что всех перепугал, оглянулся на Змеюшины крики. И закричал

Дмитрий Хмельницкий

Три писателя

1. Лимонов. «Книга мёртвых».

Ваш любимый писатель? – Эдуард Лимонов. Такое высказывание воспринимается, как правило, с недоумением – теми, кто Лимонова не читал. Или читал только «Эдичку». Можно понять.

Прочитав когда-то «Это я – Эдичка» ещё в самиздате, я сделал вывод, что книга, конечно, хорошая, но какая-то неаппетитная. И забыл о Лимонове надолго. Пока лет через десять одна знакомая чуть не насильно заставила прочесть «Молодого негодяя». С тех пор вся автобиографическая трилогия «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко», «Молодой негодяй» – оказалась в компании моих любимых книг. Вместе с «Палачом», «Возвращением иностранца», рассказами. А вышедшая в 2000 г. «Книга мёртвых» стала самым сильным литературным переживанием за многие годы.

У Лимонова странно незаслуженная литературная репутация. Она целиком определяется его крайне нелепой политической деятельностью. Но мы знаем великих писателей и с ещё более отвратительными взглядами. Например, Маяковский. Причём Маяковский со своих взглядов имел доход, а Лимонов тратит на них честно заработанные гонорары.

Критик Михаил Золотоносов написал как-то, что политическая деятельность Лимонова есть факт его литературной жизни. При этом странным образом проза Лимонова не подчинена его политической деятельности и практически с ней не пересекается. Она о людях, о вечном. Александр Кабаков в статье «Подросток Савенко и другие подростки» довольно точно определил истоки лимоновской революционности – инфантилизм. Подростковая страсть к оружию, к войне, к неаргументированному бунту против любой власти. Для взрослого человека это странно. Но качества, обязательные для большого художника, в принципе странны для нормального взрослого человека. Искренность, независимость от чужих мнений, способность ощущать мир, пространство, людей, форму, цвет непосредственно, минуя наработанные стереотипы, – эти свойства тоже очень часто сводятся к тому же неизжитому, точнее, чудом сохранённому инфантилизму. Лимонов законченно инфантилен. Для литературы это – благо. Для автора, вынужденного жить среди взрослых, благонамеренных и добропорядочных людей, – неприятности.

Которые, впрочем, обращиваются теми же необходимыми писателю страстями.

* * *

Несмотря на то, что Лимонов считает Бродского архаичным, сам он тоже решительно не современен. Точнее, не вписывается в постмодернистскую эпоху игры с текстами, тотальной иронии и двусмысленных стилистических упражнений. В этом смысле проза Лимонова – классическая. Сам он на эту тему высказался так: «Я питаю пристрастие к прямым трагическим текстам, и условные мениппеи, саркастические аллегории, всякие Зоценки и Котлованы, Собачьи сердца или анекдоты о Чапаеве, расширенные до размеров романа, короче, условные книги – оставляют меня равнодушным».

Над этим кажущимся высокомерием можно было бы посмеяться, если бы тексты Лимонова не были такого высокого уровня. Он действительно другой.

Постепенно, с годами, пришел к крамольной мысли, что лимоновское умение видеть и воплощать трагедии напрямую, вне литературных приёмов и условностей, означает более высокий уровень литературы, чем, например, непрерывное ироническое обыгрывание житейских ситуаций у любимого мной Довлатова.

* * *

«Книга мёртвых» – поразительная книга. Это сборник блестящих эссе об умерших знакомых. Конечно, не только об умерших. Это эссе о жизни, в которую были вплетены умершие люди. Лимонов написал в одной из глав: «Кто-то из моих критиков заметил однажды, что Лимонов не умеет придумывать своих героев. Это верное наблюдение. Придумывать я не умею и не хочу, я умею их увидеть. И ещё я умею их встретить». Надо добавить – и почувствовать.

Лимонов – объективный мемуарист. В том смысле, что в его рассказе о людях очень ясно различаются разные уровни взаимоотношений с героями. С одной стороны, личные отношения – дружба, вражда, любовь, зависть, обиды и примирения. С другой стороны – независимая от личных отношений способность автора ощущать действительное художественное значение творчества своих героев, по большей части людей искусства.

Этот врождённый дар, помноженный на абсолютную, редкостную в наше время независимость оценок придаёт книге особый искусствоведческий смысл. Можно не соглашаться, например, с тем, что Бродский времён суда над ним был вполне средним поэтом и только потом резко вырос под воздействием происшедших с ним событий. Можно иронизировать над тем, что Лимонов именно Бродского воспринимает литературно равным себе (хотя, на мой взгляд, есть все основания к тому), но уже никогда не отмахнуться от тонкого художественного и психологического анализа личности и творчества Бродского и других не менее

знаменитых героев книги. Анализа, вряд ли доступного большинству других – политкорректных – воспоминателей. Вот, например, о Бродском: «У него был меланхолический темперамент, его вселенной я бы не позавидовал и жить бы в ней не хотела, она мрачная. У него был настоящий талант, хотя и архаичный, библиотечно-академический. Он – единственный из живших в моё время литераторов, с кем хотел бы поговорить долго и откровенно «за жизнь», о душе, и всякие там космосы и планеты. Но он всегда уклонялся, боялся».

Третий уровень отношений автора с его героями – самый на самом деле важный – определяется даром Лимонова остро чувствовать человеческое содержание людей, психологию, страсти. То есть чувствовать реальное значение личности, вовсе не обязательно совпадающее со значением творчества, даже если таковое и имело место. Вкупе с простым, точным, упругим языком это свойство превращает мемуары и критику в классическую литературу. Оно делает шедеврами не только главы, в которых речь идёт о знаменитостях – Бродском, Лиане Брик, Татьяне Яковлевой, Дади, Энди Уорхолле, но такие, где рассказывается о малоизвестном художнике Евгении Кропивницком или совсем неизвестных друзьях юности Лимонова, тихом эмигранте Лёне Колмогоре, парижской пенсионерке, сдававшей автору квартиру, его собственном охраннике...

У Лимонова свои отношения с умершими: «Со временем влияние мёртвых постепенно ослабевают. Нет, очевидно, мёртвого, кто бы мог держать нас на привязи постоянно, интересоваться собой. К этому нужно добавить ещё тот факт, что величина мёртвого зависит от величины того, кто его вспоминает». И ещё: «О мёртвых надо говорить плохое, иначе, не осудив их, мы не разберёмся с живыми. Мёртвых вообще всегда больше, чем живых. Быть мёртвым – куда более естественное состояние. Поэтому – какие тут церемонии могут быть, мёртвых жалеть не надо. Какие были, такие и были. Они имели время, все, какое возможно. Если не доделали чего-то... ну, разведем руками».

В этих словах нет ожесточения, нет цели кого-то разоблачить. Есть естественное желание понять и почувствовать, пропустить сквозь себя насыщенное человеческими страстями время. Кстати, эта способность ощущать время невероятно остро проявилась в первой части биографической трилогии «У нас была великая эпоха» – о пятидесятых годах. На мой взгляд, это лучшая русская книга о том времени. Да и сам Лимонов считает её своим шедевром.

Вопреки нелепой аннотации на обложке «Книги мёртвых», рассчитанной на привлечение внимания («По-настоящему злобная книга»), злобы в ней нет вообще. Есть независимость, которая, однако, сама по себе способна вызвать злобу у окружающих. Искренний интерес к людям в принципе, наверное, не может быть злобным. Нельзя размышлять о жизни без теплоты. Даже о тех людях, которые ему не сильно симпатичны, он пишет глубоко, с интересом и всегда нежизненно.

данно. И всегда выходя за рамки собственно мемуаров. О поэте Игоре Холине: «В России Холин неуместен. Его некуда девать. (Бродского, кстати, тоже не было бы куда девать, но у него случилась искусственная судьба)... В России вообще всех некуда девать. Здесь все лишние».

* * *

Согласно общественному мнению, Лимонов – порнографический писатель. Или как минимум непристойный. Это нелепый и незаслуженный миф. Он порождён гомосексуальными ситуациями в первом романе «Это я – Эдичка». В действительности Лимонов азротичен. У него есть откровенные ситуации, (например, в «Палаче»), но нет вульгарных. Даже самые тяжелые сцены никогда не написаны с целью возбудить или эпатировать читателя. Они – часть сложной и тяжелой жизни. И полностью подчинены сюжетной логике.

Можно ещё предположить, что Лимонову не могут простить простой честности. Правда, честность Лимонова действительно не всем по плечу. Предметы и понятия, для которых в русском языке нет пристойных слов, Лимонов называет в своей прозе напрямую, не ища эфемизмов. Он мало пользуется такими словами, но когда надо, пользуется только ими. Пользуется так, как он сам и его герои (тот же Бродский, которого он цитирует в «Книге мёртвых») пользуются ими в жизни. Это производит более сильное впечатление, чем любая стилистическая игра с матом, рассчитанная на эпатаж, или, как минимум, удивление читателя.

Среди героев «Книги мёртвых» – все три бывшие жены Лимонова. Умершая в сумасшедшем доме Анна Рубинштейн, вторая жена Елена Щапова и умершая в 2003 г., после выхода книги, Наталья Медведева. Писать о бывших жёнах так, как будто он их ещё и сегодня любит, – редкое мужское свойство. Не винить их в разрывах, воспринимать трагедии как данность, как неотъемлемую часть трагической по своей сути жизни – ещё более редкое.

Порнографический писатель не смог бы написать: «Разрыв, даже с чудовищем, всегда как репетиция смерти. Потому что все, что у тебя собрано: лекция объятий, вечеров, ночей, случаев, молчаний – всё это подвергается опасности вдруг. Всё это безжалостно убивается, по улыбкам ходят ногами, и часть жизни отмирает. И ты остаёшься с меньшим количеством жизни».

Опубликовано: «Русская мысль», Париж, N 4452, 17 апреля 2003 г.

2. Владимир Войнович. Между мифом и портретом.

В 1988 году один знакомый ехал из Берлина в Париж. Попросил его зайти в лавку издательства ИМКА-Пресс и купить «Москву 2042» Владимира Войновича. Тогда в Берлине русских книг не было вообще. В лавке ему ответили: «Мы эту антисолженицынскую гадость не продаем».

Книжку тогда я, конечно, достал другими путями. Она оказалась исключительно смешной, умной и, как потом, к сожалению, выяснилось – пророческой. Зрелище кремлёвских чиновников, стоящих на богослужении в Успенском соборе до сих пор неизменно вызывает в памяти картину «звездения» из книжки Войновича. Там коммунистический режим сроясь с религией, священники присутствовали на всех торжественных актах и граждане не крестились, а «звезднились» – изображали на себе не крест, а пятиконечную звезду. Главный герой – Сим Симиыч Карнавалов – представляя собой тонкую и тоже пророческую пародию на Солженицына. Когда Солженицын торжественно въехал на поезде в Россию, медленно и с понтом пересек ее, а потом произносил странно пустые и вообще странные, но исключительно многозначительные речи, всё время всплывала мысль – предупреждали же его: не въезжай в Россию на белом коне! А он въехал...

Книга, изданная в 1986 г., вызвала яростный и нелепый протест солженицынских фанатов («солжефренов», по выражению Войновича). Что говорит только в её пользу. В 2002 году, к своему 70-летию, Войнович написал ещё одну книгу – «Портрет на фоне мифа». Теперь – просто о Солженицыне. Всерьёз и без насмешек. На мой взгляд, это очень важное событие в русской культуре вообще. В странную нынешнюю «постмодернистскую» эпоху подмены понятий, эпоху, когда рыночный успех становится синонимом художественного, Войнович напомнил о том, что всё ещё существует «гамбургский счёт». Что никакие заслуги в прошлом не могут улучшить или предопределить качество того, что человек делает сейчас. Что глупость, сказанная великим человеком, не перестает быть глупостью. Что мифотворчество и создание любых культов, даже очень хороших людей, тоже есть глупость. А если в душевных и нравственных качествах возвеличиваемых людей есть сомнения, то это – злонамеренная глупость. И создателей культов она серьёзно дискредитирует.

О Солженицыне Войнович говорит объективно. Никак не умаляет его художественных и общественных заслуг. Об «Одном дне Ивана Денисовича» пишет по-прежнему с восхищением. О романах «В круге первом» и «Раковый корпус» – тоже. О «Гулаге» с меньшим восторгом. Отмечает, что главное в книге – «сами судьбы, а не сила изображения». Тут я не вполне согласен, мне как раз художественная сторона «Архипелага ГУЛАГ» кажется превосходной, но это как раз дело вкуса. Интересно замечание Войновича, что если «Архипелаг ГУЛАГ» и перевернул сознание читателей, то далеко не всех. А только тех, кто раньше не знал ничего о террористической сущности советского режима, не читал книг Варлама Шаламова и Евгении Гинзбург. И вообще не замечал того, что происходило вокруг в течение десятилетий.

Войнович отдаёт долг абсолютному мужеству Солженицына, много лет ри-

сковавшего жизнью и готового ею пожертвовать. Но он пишет также о художественной и нравственной эволюции Солженицына. Например, о низком уровне написанной уже в эмиграции эпопеи «Красное колесо». О том, что знаменитые «узлы» плохи, нечитабельны, скучны. Что налицо провалы вкуса и отсутствие чувства юмора, которое не позволяет эти провалы заметить. О самовлюбленности Солженицына и об отношении к самому себе как к непогрешимому объекту культа. Как раз эти черты и были высмеяны в романе «Москва 2042».

Войнович пишет и о более серьезных вещах, чем просто литературные неудачи. По крайней мере, серьезных для человека, игравшего много лет роль этического эталона. О нетерпимости, равнодушии к помогавшим ему людям, высокомерии и хамстве. О сознательной и циничной заботе о собственном имидже. О странных для апостола правозащитного движения недемократических взглядах. Об отчётливо проступающих в его текстах признаках ксенофобии. Кстати, единственный аргумент, который кажется мне не вполне убедительным, это перечисление Солженицыным начальников Беломоро-Балтийского канала, которое Войнович интерпретирует как сознательную выборку только еврейских фамилий – Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт, Жук. Дело в том, что в знаменитом Указе о награждении строителей Беломорканала 1932 г. эти фамилии перечислены именно таким образом. Плюс Ягода и 3-4 имени исправившихся уголовников. Думаю, что просто список этот был на слуху. В остальном – всё очень убедительно.

Владимир Войнович считает, что «отсутствие сомнений в самом себе и самокритики, гордыня и презрение к чужому мнению заглушили в нём инстинкт самосохранения (творческого), лишили его возможности трезво оценивать свою работу и почти все, что он написал в эмиграции, его публичные выступления и отдельные высказывания стали для него убийственной антирекламой». Трудно не согласиться.

В книге «Портрет на фоне мифа» есть ещё один тематический пласт, может быть и более важный, чем оценка личности Солженицына. Это тема тяги к «идолопоклонничеству». Стремление к безоговорочному воспеванию классиков и героев оказалось характерной не только для советского сообщества, но и для антисоветского – для нарождавшегося в 50-60-е гг. диссидентского движения. Среди тех, кто воспринял пародию на Солженицына в романе «Москва 2042» как оскорбление великого человека, были люди с безупречной репутацией – Александр Гинзбург, Виктор Некрасов, Анна Берзер, Лидия Чуковская. Войнович с огорчением пишет: «Когда меня ругали за «Чонкина» секретари Союза писателей, Герои Социалистического Труда или советские генералы, их суждения были невежественны и смехотворны, но меня это... не обижало и не удивляло. Я понимал, что это говорят глупцы и невежды... Но когда близкие мне люди возмутились «Москвой 2042» и попытались объяснить причину своего негодования,

их аргументация оказалась тоже не умнее этих, мной перечисленных. Только те меня винили в том, что поднял руку на великий народ, а эти, что – на великого человека, на нашу гордость и славу».

В книге неожиданно много места занимает личная и очень резкая переписка Владимира Войновича и его жены Ирины с их близкой приятельницей по поводу «Москвы 2042». При иных обстоятельствах такой довесок мог бы только ухудшить книгу. Если бы не имя приятельницы – Лидия Корнеевна Чуковская. Взгляды знаменитой дочери Корнея Чуковского, даже неверные или неубедительные, несомненно важны для истории.

Владимир Войнович сделал себе к 70-летию очень хороший подарок. Остаётся его только поздравить.

Опубликовано: «Европа.Экспресс», №52, 2002, Берлин.

3. «Дрейф» Марио Корти

«...Авантюристы – очаровательные люди. Их аура, круг интересов и поле деятельности шире, чем у обычных людей. В детстве к ним относятся как к ублюдкам...»

Если бы я своими ушами не слышал выступление руководителя русской службы Радио «Свобода» Марио Корти, то не поверил бы, что эта книга написана итальянцем, никогда долго не жившим в СССР. Написана на русском, а не переведена...

Комплименты типа «ах, как вы хорошо говорите по-русски (по-немецки, и пр.)» всегда двусмысленны. Дескать, иностранец, а выражается понятно. Маленькая книжка Марио Корти «Дрейф» поразительна тем, что это настоящая русская литература.

«...иногда посторонний видит то, что посвящённый, связанный правилами игры, обходит вниманием...»

Тем не менее книгу написал чужак. Это сказывается в том, что она не вполне вписывается в литературный процесс. Сегодня модна самодостаточная игра с текстом и словами. Корти же – ощущает вкус языка так, как это делали лет сто назад, когда язык был средством выразительности, а не целью. Это язык, подчинённый ощущениям, а не наоборот. Таким языком пишется классическая литература.

«Что ещё побудило меня сесть за компьютер? Попросили написать автобиографию. Я ограничился несколькими эпизодами из детства. Вообще я не люблю автобиографический жанр. Кроме Казановы и Челлини – скучно. Как же поведать о себе так, чтоб было интересно? Очень просто: говорить в основном о другом».

Не сразу понимаешь, что этот сборник не связанных между собой новелл, от-

рывков, случайных справок - на самом деле вполне связанная автобиография. Из неё просто убрано лишнее: даты, точное время, место, имена, обстоятельства. Убрано то, что нужно для написания биографии, но не нужно для понимания человека.

«Я искал форму, позволяющую нащупывать далёкие связи во времени и в пространстве, перепрыгивать из ситуации в ситуацию, показывать мир без границ – и временных, и географических, и культурных, – дрейфовать без руля и ветрил, что не разрешено профессиональным историкам...»

Книга насыщена людьми, реальными и вымышленными. И такими же событиями. Таинственный Проповедник, итальянский композитор Сартти при дворе Екатерины II, легендарный вождь чеченских повстанцев XVIII века Ушурма, он же шейх Мансур, который то ли был, то ли не был беглым итальянским бунтовщиком. Наум Коржавин и иезуитский миссионер XVI века, известный в Китае под именем Ли Мадоу... Сам автор выступает в двух ипостасях – Начинающего и Аграфандра. Начинающий учится в духовном колледже, влюбляется в музыку, девушек, русскую литературу...

«Среди её героев ему были ближе старцы и крестьяне – как ему казалось, истинные представители русского народа. Они говорили пословицами или евангельскими изречениями...»

Аграфандр живёт в Москве, убегает от кагэбэшников, спорит.

«Ренессанс в России не состоялся, так как не было исторической преемственной связи с греческой и римской античностью. Ренессанс возможен только в пределах бывшей римской империи, причём западной, говорил Аграфандр. Так оно и было...»

Время, персонажи, страны, цивилизации перетекают друг в друга, образуя необыкновенно реальную среду, лишённую воздушной перспективы. Расстояний нет ни между людьми, ни между временами. Ощущения и страсти давно умерших людей переплетаются со страстями наших современников.

«...в отличие от Тосканы, гениев в Ломбардии особо не завелось. Их здесь даже не очень-то и ценят. С другой стороны, те скромные персонажи, которые прославили себя и Трещо, выглядели бы достойно и в любой другой стране...»

Кажущийся хаос книги имеет четкую структуру. Это вообще не хаос, а внутренний мир одного очень образованного и очень насмешливого человека. «Не ангажированного», как говорили совсем недавно. «Не тусовочного», как говорят сейчас.

«Он пал ниц перед огромным пустым тронem. Вряд ли в такое раннее время Сын Неба толстяк Ваньли, никем не видимый, наблюдал за ним. Он уже знал черты лица пришельца: ему показали портрет, исполненный придворным художником. Внимательно изучив картину, Сын Неба молвил с усмешкой: «Хуйхуй». В Среднем царстве этим словом было сказано все...»

В книге нет фантазий, нет сочинительства. Просто автор, привыкший размышлять над историей, не может не ощущать её непрерывности, единства человеческой природы, человеческих предрассудков, пороков и достоинств. Исторический персонаж, который занимает воображение, разрастается, становится близким, не менее понятным, чем современники. Даже если он понят неправильно. И не так важно, правильно ли он понят. Точнее, совсем неважно.

«Огромный вокзал в пустыне, повисший между небом и землёй. Место так и называлось – Узел. В пяти километрах отсюда – городок, в котором родился Диктатор. Распрощавшись, друзья сели в поезд и уехали. Слово «хуйхуй» не произносили, но оно было написано на их лицах...»

Память человека, имеющего воображение, с годами заполняется образами людей и событий, яркость которых зависит не от временной дистанции, а от того, насколько они ему самому интересны. «Дрейф» – автобиографическая книга человека, имеющего воображение. Или так: это – биография воображения.

«Мамлюками назывались португальцы и метисы из района Сан-Паулу в Бразилии, которые время от времени совершали налеты на индейцев гуарани. Пленных продавали в рабство. Ну, а там, где другое Междуречье знают все, гуарани – диалект курдского языка, а белые рабы-мамлюки в Египте были из тюрок, грузин, черкесов и других кавказских народов...»

Авантюристы – очаровательные люди.

Опубликовано: Колокола, N 3,4 (8,9) 2000, Лондон

Дмитрий Хмельницкий – архитектор, историк архитектуры, журналист. Член ПЕН-клуба. Родился в 1953 году в Москве. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. Автор книг: «Архитектура Сталина. Психология и стиль», «Зодчий Сталин», «Беседы

с Виктором Суворовым», «Правда Виктора Суворова» (сборники), «Под звонкий голос крови. Советская эмиграция и национальная идея» и многочисленных журнальных и газетных публикаций. Пишет также на немецком языке и переводит с немецкого. С 1987 г. живёт в Берлине.

Ильзе Чёртнер

Переводы

Марина Цветаева

Стол

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шёл
Со мною по всем путям.
Меня охранял – как шрам.

Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грёз –
Спасибо – что нёс и нёс.

Строжайшее из зеркал!
Спасибо за то, что стал
(Соблазнам мирским порог)
Всем радостям поперёк,

Всем низостям – наотрез!
Дубовый противовес
Льву ненависти, слону
Обиды – всему, всему.

Мой заживо смертный тёс!
Спасибо, что рос и рос
Со мною, по мере дел
Настольных – большал, ширел,

Так ширился, до широт –
Таких, что, раскрывши рот,
Схватясь за столовый кант...
Меня заливал как шtrand!

К себе пригвоздив чуть свет –
Спасибо за то, что вслед
Срывался! На всех путях
Меня настигал, как шах –

Беглянку. – Назад, на стул!
Спасибо за то, что блюл
И гнул. У невечных благ
Меня отбивал – как маг –

Сомнамбулу. Битв рубцы,
Стол, выстроивший в столбцы
Горящие: жи! багрец!
Деяний моих столбец!

Столп столпника, уст затвор –
Ты был мне престол, простор –
Тем был мне, что морю толп
Еврейских – горящий столп!

Так будь же благословен –
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, – как пила
В грудь въевшийся – край стола!

Июль 1933

Борис Пастернак

* * *

Но и им суждено было выщевьсть,
И на лете – налёт фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого –
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.

Mein Schreibtisch, mein Schraubstock, dir dank ich –
du zwangst mich und zwangst, und entsprang ich,
da sprangst du mit rascheren Sprüngen
mir nach wie ein Pascha, zu zwingen

die flüchtige Sklavin zurück.
Du rissst mit Magierblick
mich aus der verführenden Chance
wie aus somnambulischer Trance.

Die Purpurspur meiner Blessuren
gerann auf dir, Tisch, zu den Suren
des Ichs, meines Ichs, zum Koran
des Seins: meins – in Taten und Plan.

Stylitensitz, Spund vor dem Mund,
du warst für mich Thron, Boden und
das, was für die wandernde Schar
der Juden die Feuersäule war.

Gesegnet sei, Tischland Gelobtes,
von Stirn, Elle, Knie schlachterprobtes!
Ins Mark sägte sich, ins gebrannte,
mir – quer durch die Brust – deine Kante.

Berlin 1989(M. Z.: Ausgewählte Werke Bd. 1.
Verlag Volk & Welt, S. 155-156. Übers. v. Ilse Tschörtner)

Boris Pasternak

* * *

Auch für sie kam die Zeit der Erschlaffung und Flaute.
Die Silhouette des Lands wurde violett,
und die Wolken, zuvor so dramatischen lauten,
pfiiffen, fistelten, flüsterten im Falsett.

Sie verhielten, die Ferne verhüllend, im Fliegen
über tränendem niedergesunknem Flox,

Цветники как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзюю.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух роц и, как зов, беспризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917

Haubenbeeten, wie kalten gesprungenen Fliesen,
und den Häusern, die keuchten vor Kohlekoks.

Ab und zu bricht Türkislicht vom Osten herein,
und die Beet-Karees liegen wie unter Reif,
und die Luft steht wie Grabmarmor klar überm Hain
und verloren und obdachlos wie ein Schrei.

Lebt denn wohl, meine Verse, mein Glück, ich bestimme
mir ein Wiederseh'n mit euch, der Hauptfigur
meines Lebensromans, und wir werden wie immer,
fern von Parodie, eins sein in der Natur.

(B. P.: Gedichte und Poeme, Aufbau Verlag GmbH,
Berlin 1996, S. 155-156. Übers. von Ilse Tschörtner)

Чёртнер Ильзе – славист, переводчик с
русского и польского языков, редактор,
член союза немецких писателей «Verband
Deutscher Schriftsteller».
Родилась в 1942 году в Бреслау (Германия).
Окончила Берлинский университет им.
Гумбольдта. Стажировалась на филфаке Мо-
сковского университета по теме: «Поэтика
Б.Пастернака».
Работала редактором в издательстве «Volk
& Welt». Переводит русскую литературу,

преимущественно XX века. Среди её работ
переводы поэзии М.Лермонтова, А.Блока,
М.Цветаевой, Б.Пастернака, Д.Хармса,
А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной и др. и про-
зы – И.Бунина, М.Горького, А.Мариенгофа,
К.Паустовского, В.Астафьева, Т.Толстой и др.
Лауреат премии переводчиков издательства
«Volk & Welt», стипендиат берлинского
Сената.
Живёт в Берлине.

Борис Шапиро

* * *

Алеф веры моей в тебе,
День грядущий.
Осыпь лжи и насилий
Надежду не сможет убить.
Оглянись,
Эхо истины
Хлебом приходит насущным.
Оглянись же, Господь,
Дай и нам до свободы дожить.

* * *

Площадь Красная, площадь Красная,
лоб земли,
и покати́ста, и размаши́ста
исстари.

Как по капельке, по крупиночке
здесь цари
кровью красною, да бульжнички
застили.

И мости́ли мосты ошейные,
горло-сталь.
Место лобное – рраз ошейником –
крик-хрусталь.

Только ёлочки посиневшие
у стены,
и стрельцы совсем заиневшие
вдруг видны.

По-над площадью, по-над красною
времена
словно звон стоят, правда катится,
вся красна.

* * *

Лицо наплывом,
В кадре дача, вернее
дачный столик и скамейка,
углом наброшенная скатерть,
и солнечный лимон,
на дереве стола лежащий,
освещает скатерть.
А правее, в надорванном конверте письмецо
и ветка ивы.
Нет ни дуновенья,
хотя свежо.
Поверх всего лицо.
От запаха шалфея или мяты
вкус благопожеланья.
Это утро
неслышно отлетает от стола.
Такой сегодня день,
что скатерть не измята,
лимон – древесное яйцо,
и не нужны слова.

Отрывок из поэмы: «Проводы отца»

1.

Архитектура города легка,
но не взлетают вверх, хотя стремятся,
в бездомные борзые облака
дома, каналы, улицы, палаццо.

Бездумный арлекин свой танец вертикальный
вознёс над топью на семи холмах.
И в сумерки виднее куполов сусальных
над паутиной улиц судорожный взмах.

Мы шли вдвоём, и папа вдруг сказал:
«Не улететь тому, кто вековые корни
поит водой из лужи подзаборной.
Непредсказуемое – корень всех начал.

Пророчество ж всегда в каком-то смысле рана,
а город держат зову вопреки
задворки, закоулки, тупики
свинцовой влагой пьяного тумана».

Ещё сказал он: «Память – это хлеб,
и вообще нелепы расстоянья.
Мы не прервём последнее свиданье,
хоть ты и улетишь на много лет.

Всё возвращается опять на круги вальса.
Конверт пространства в сущности зависим
хотя бы от ножа для разрезанья писем... »
Я уходил, а папа оставался.

Сквозь спящий город медленным круженьем
самозабвенный зодчий-арлекин
вёл нас двойным друг друга отраженьем
в провалах окон и слепых витрин.

Два отрывка из поэмы: «Тринадцать»

3.

Она сказала, что печаль
всего на свете долговечней.
И сразу высветился Млечный
в одну скорбящую скрижаль.

А те, кто в будущем найдут
остатки жизни на Планете,
какие заповеди встретят
и что о нас они поймут?

**Я и вижу и не вижу
неотвязный лик.
Раздвои же , раздвои же,
раздвои язык.**

Борис Шапиро — поэт, прозаик. Член ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы. Родился в 1944 году в Москве. Окончил физфак Московского университета. В Германии с 1975 г. Выпустил книги стихов и поэм на русском языке: «Начало» (самиздат), «Соло на флейте», «Две луны», «Предрассудок», «Тринадцать», «Если рано скажешь»; и на немецком

языке: «Зерно метаморфозы», «Никейская львица», «Только человек», «Будто зяблик», «Кто живёт не так», «Что желает мне моя любимая», имеет более сотни публикаций в периодике. Шесть литературных премий, в том числе – Арт-Фонда Плаас, ПЕН-клуба, германской Гильдии Искусств, Фонда им. Конрада Аденауэра и др. Живёт в Берлине.

Сергей Юриздицкий

Интервью с Мариной Тимашиевой

С кинооператором Сергеем Юриздицким, снявшим и лучшие фильмы Сокурова – от «Одинокого голоса человека» и «Скорбного бесчувствия» до «Спаси и сохрани», – и нашумевший «Русский бунт» Прошкина, и тончайшую картину Яхниса «Ботинки из Америки», беседует корреспондент радио «Свобода» Марина Тимашева

Марина Тимашева: Что могло заставить одного из самых знаменитых операторов страны её покинуть? Не говоря уже о более серьезных вещах, как-то: язык, традиция, зачем уезжать от режиссёров, которые тебя знают и готовы работать вместе, как уезжать от славы туда, где тебя никто не знает и уж, во всяком случае, не боготворит?

Сергей Юриздицкий: Охота к перемене мест. Прямо по Фрейду. Трёх месяцев от роду меня перевезли из Сочи в Питер. И так всё детство, до школы, полгода – в Питере, полгода – в Сочи. Любимая игра: войти в комнату с чемоданом, со всеми попрощавшись, залезть под стол и ехать. Приехав, насладиться радостью встречи и повторить всё сначала. Доводил маму и бабушку до изнеможения.

Знаменитым оператором на момент принятия решения об отъезде себя не считал. Все работали. Думал, что способен помочь западному кино неординарным подходом к изображению. Ошибся. Оно в помощи не нуждается. Для себя искал расширения возможностей, новых контактов, обретения нового языка. Частично преуспел. Слава догнала меня здесь. Пришлось проявить интерес к этому предмету. На западе принято заниматься своей известностью. Теперь в интернете у меня страница и куча ссылок.

Любимые режиссёры не отвечали взаимностью. Сокуров, Урсуляк, Балабанов, Прошкин получали от критиков двусмысленные комплименты по поводу удивительного изображения. Кайдановский, Шахмалиева умерли. Молодёжь не решалась ко мне обращаться. Образовался вакуум. В том числе и в бюджете.

Собрал чемодан, со всеми попрощался и – под стол. Теперь жду, как все обрадуются, когда вернусь.

М.Т.: Больше ли стал стол в Берлине? Вы всё-таки выросли?

С.Ю.: В Сочи под столом было, как в купейном вагоне. Здесь всё, как в СВ. Вообще, перспектива возвращения связана с отказом от комфорта. Хотя с возрастом понимаешь, что душевный комфорт важнее. От себя никуда не уедешь.

М.Т.: Вспоминая Ваши фильмы и понимая, насколько субъективно моё суждение, я вижу «питерского» оператора. Я имею в виду призрачность и зыбкость этого города, неяркость его цветов, старинную его культуру. Что приехало в Ваши картины из Сочи? Образы, воспоминания, цветовая гамма? Или вот, например, мне кажется, что в Питере – низкое небо, а в Сочи – иначе, и ещё там виден горизонт.

С.Ю.: От Сочи – любовь к морю. От Питера – бесцветное небо в моих фильмах. Особенно борюсь с синим летним небом. Давлю его фильтрами. Студентам говорил, что для красоты картинки необходимо пожертвовать одним цветом из основных. Сам придумал. Потом где-то прочитал, что так и создаётся грамотный колорит.

М.Т.: А что значит давить фильтрами? Можно это описать словами для неразумных нас – читателей? И потом у меня всегда было ощущение, что так, как Вы, никто не снимает, то есть, что Вы многое придумали? Не стесняйтесь, похвастайтесь. В конце концов, когда Вы преподаёте, Вы говорите об этом со своими студентами. Поговорите и со мной на профессиональном уровне. Ведь я тоже не понимаю, что такое оператор: он – и творец, и подмастерье, он мыслит образами, но таскает камеру и, наверное, всё умеет делать своими руками, как сценограф в театре. То есть эта профессия требует универсальных личностей – очень образованных, свободных во взгляде на мир, и с руками, которые растут из нужного места.

С.Ю.: Давить небо фильтрами, в моем понимании, значит снижать насыщенность цвета не по всему кадру, а в отдельных частях. Например – небо. Есть разные приёмы, в частности – специальные фильтры. Мне редко удаётся просто снять на плёнку часть видимого мира. Студентам говорил, что в объекте всегда необходимо что-то изменить. Тогда через изображение передаётся некоторая энергия. Видно, что автор несёт что-то, невидимое каждому. А вот что именно изменить, решает каждый сам.

«Кодак» делает плёнку, на которой каждый может зафиксировать реальность почти факсимильно. Но оказывается, что этого недостаточно.

М.Т.: Вы ведь и в театре работаете? И тогда сразу вопрос: в чём принципиальное отличие между работой оператора в кино и в театре? Я всё понимаю про сцену-коробку, статичные декорации и прочие условия, но есть и что-то ещё?

С.Ю.: Перед отъездом в декабре снимал в Петербурге балет Козлова. Он живёт в Потсдаме, но здесь мы не общаемся. В Петербург меня время от времени зовут снимать спектакли. Я ведь перед эмиграцией этим занимался. Тогда я снял «Мрамор» по пьесе Бродского и многое другое.

В театре надо предугадывать развитие мизансцены, чтобы показать главное и не упустить атмосферу действия. Я говорю о прямой «репортажной» съёмке. Если сцена ставится специально для съёмки, то это уже нормальное кино. Магия сиюминутности театрального действия при этом пропадает.

М.Т.: В какой степени оператор зависит от режиссёра? В театре я понимаю: режиссёр принес пьесу и сказал, что ему нужен примерно такой образ, такая метафора или просто интерьер такого-то времени. С чем приходит и чего требует режиссёр от оператора в кино? Если можно привести простые примеры, приведите, пожалуйста, потому что режиссёры, с которыми Вы работали, все – разные.

С.Ю.: Нормальный режиссёр ждёт от оператора помощи в создании визуального ряда. С таким работать интересно и просто. Можно представить себя, как режиссёра изображения. Буквально, как по-английски: «director of photography». Там потому так и называется, что профессии довольно чётко определены и разделены. Кино должно приносить доход. Значит, изображение должно подчиняться определённым стандартам. Конечно, бывают исключения. Тогда появляется исключительное кино. Оно служит развитию киноязыка, и новые приёмы скоро становятся нормой и рутинной. Профессионалы стараются следовать свежим нормам, свежей рутине. В России кино, хотя и приносило доход, но это было не главным. Идеологический контроль много слабее финансового в сопротивлении необычной форме. Поэтому в России так внимательно относились к операторам, способным предложить особенный подход к изображению. У нас оператор не назывался режиссёром изобра-

жения. Была потребность в совместных поисках стиля повествования, который, конечно, оказывался стилем создателей. Группа так и подбиралась – по личным пристрастиям в стиле. Можно было узнать авторов, не глядя в титры. Естественно, я говорю не о примитивном кино.

Конечно, и у нас встречались неплохие режиссёры, которые просто хотели, чтобы героев было хорошо видно. В том числе и ночью. Такие ко мне в основном не обращались. А если случалось, были разочарованы.

Следующий тип – режиссёры с ярким изобразительным видением. Это самый трудный случай. С ними интересно, но невероятно трудно. Дело в том, что собственный стиль это тоже набор штампов. Только собственных. И вот режиссёр начинает их ломать. Заставляет выдумывать новые формы, чаще всего без толкового объяснения, какими они должны быть. Это потом понимаешь, что было страшно интересно. А в процессе – порой хоть в петлю. Так получается исключительное кино, появляются новые формы, переходящие в новые штампы у оператора, а если повезёт – то в новые штампы в кинематографе. Я думаю, что одни операторы создают штампы, а другие только используют. Хорошо и к месту использовать чужие штампы – большое искусство, почитаемое большинством продюсеров.

Я, на беду, это делаю плохо. А вот у других свои причуды вижу с удовольствием. Пошли в тираж!

И последний тип. Он может только присниться, но мне встретился. Режиссёр доверяет оператору и готов при этом полностью делить с ним ответственность за содеянное. Это Юрий Рогозин. Думаю, что на нём одном и заканчивается этот режиссёрский вид. Дай Бог, чтобы он дал потомство.

М.Т.: Вы – художник с мировым именем – согласились работать с дебютантом Аркадием Яхнисом. Это на безрыбье или что-то остановило на этом режиссёре Ваше внимание? Что показалось существенным – тема, личность режиссёра, лицо Рамаза Чхиквадзе? И как Вы с ним работали – он ведь не может командовать Вами?

С.Ю.: Всегда с удовольствием работал с особенными людьми, независимо от их стажа. Аркадий мной командовал. Было нелегко

М.Т.: Вы написали, что Германии оказались не нужны новые идеи и новый киноязык, а ведь «Ботинки из Америки» сняты на немецкие деньги? Значит, или я что-то перепутала, или Германия – разная.

С.Ю.: Германия сначала не поняла, что мы затеяли. А потом было поздно. А если серьёзно, Michael Frenschkovski, наш продюсер – просто порядочный человек. У него это был первый игровой проект и он довёл его до конца. Уже было четыре показа по немецкому телевидению. Это очень хороший результат.

М.Т.: Сережа, мне кажется, что в образном ряде «Ботинок из Америки» много живописных ассоциаций и сознательных киноцитат. Так ли это? И ещё – бывают ли такие актёрские лица, с которыми оператору трудно и наоборот? В этом контексте – несколько слов о Рамазе Чхиквадзе.

С.Ю.: Я иногда использую живописные источники. Например, в «Одиноким голосе человека» образцом был Петров-Водкин. Заимствование иногда позволяет сократить текст ради контекста. Конечно – в кино. В литературе это невозможно. Там контрапункт всегда удлиняет текст. А в кино самое интересное – невзначай намекнуть на что-то существенное. За счёт трёхмерности (смысл – изображение – звук) это можно делать компактно. Но в «Ботинках из Америки» я ничего такого не замышлял. Может быть – навеяло...

Я, извините, никогда особенно не заботился о лицах. Считал их частью пейзажа. Или, как говорил Рерберг, светотональным пятном. Конечно, бывают дефекты, которые приходится исправлять, чтобы не портить пейзаж. Рамаз владеет потрясающим лицом. С ним бороться не пришлось. А бывало и другое. Артистки иногда мне говорят, что никогда не были так красивы, как у меня. Надо добавить, что я с ужасом представляю себе задачу снять лицо так, чтобы оно не было красивым.

М.Т.: В «Ботинках из Америки» парадоксально заявлена мессианская тема. Излюбленная и Сокуровым. Для Вас она важна?

С.Ю.: Тема вообще для меня не особенно важна. Однажды Сокуров увидел фотографию, на которой я читаю сценарий, и сказал, что это – фотомонтаж. Я как-то признался, что если бы мог запомнить сценарий, стал бы режиссёром. Иногда шучу с назойливым режиссёром: «Не рассказывай мне так подробно сценарий – будет неинтересно смотреть»

М.Т.: Существуют ли такие моменты в истории, которые можно описать, как революцию в операторском деле? Если есть, то когда они случались и с чем были связаны (с появлением технологий или личностей? Или появление технологий и личностей совпадает по времени?)

С.Ю.: На моём веку операторы сломали традиционную схему света с обязательным контражуром и подсвеченными глазами. Изображение стало естественной. Этот крест несли Лебешев, Рерберг, Долинин и ещё многие. За апостольство я был многократно бит. Потом это как-то рассосалось. Но до сих пор у меня шерсть встаёт на холке, когда меня просят «для выразительности» подсветить актёру глаза.

В моём операторстве маленькой революцией стал «Русский бунт» Александра Прошкина. Начало работы пришлось на момент отъезда в Германию. В Берлине давно живёт моя сестра. Её простодушное пожелание странным образом повлияло на перемену в моём подходе к изображению. Я показал ей «Скорбное бесчувствие», фильм, которым привык гордиться. На экране её огромного телевизора, встык с бойким немецким изображением, моё выглядело несколько странно. Сестра помолчала и, боясь меня обидеть, сказала: «Сергей, тебе предложили снять такой интересный фильм. Пожалуйста, не снимай мутно». Вот с тех пор я и не снимаю «мутно».

М.Т.: Что в своей работе Вы сами считаете открытием?

С.Ю.: Никакими открытиями не прославлен. Вывожу из небытия задуманные режиссёрами фильмы, а заодно и самих режиссёров. Помог прославиться Сокурову. Это, пожалуй, моё самое важное открытие. Есть несколько идей в технологии киносъёмки, которые вполне революционны, но не оформлены. Я это преподавал. Хорошо бы учебник для операторов написать, как-то не соберусь.

М.Т.: Сколько лет Вы провели в Германии и что, кроме «Ботинок из Америки», сняли? И на что вы вообще живёте – или на пособие?

С.Ю.: Если считать от прибытия, живу пять с половиной лет. Реально – в два раза меньше: много работал в России. Живу на остатки российских гонораров, иногда на пособие. Снял в Германии, кроме «Ботинок», документальный фильм Александру Гутману «Бегство в Юность». Был приглашен на крупный немецкий проект «Пока ноги несут» по известному (немцам) роману. Там немецкий военнопленный бежит из советского лагеря на мысе Дежнёв и пешком через всю страну уходит в Иран, затем в свою Баварию. Продюсер и режиссёр – молодые люди с «американскими» представлениями о кино (самого примитивного рода). Режиссёр – каскадёр по профессии. Мне пришлось столкнуться с таким уровнем глупости, как никогда раньше. При этом – амбиции... Одевали актёра в немецкую офицерскую шинель. Это он зимой за полярным кругом на советской территории в немецкой шинели идёт через тайгу и т.д. Снимали под Минском.

Организовывали Заполярье в малоснежную белорусскую зиму. Сильно экономил на оплате труда несчастных белорусов. Когда я стал выражать несогласие с художественными просчётами и с методами эксплуатации туземного населения, натолкнулся на отпор и постепенно понял, что надо уходить с картины. И, что интересно, вечером – понял, а утром у них уже сидел Павел Лебешев. Он потом по телефону меня поучал, что в профессию оператора входит умение снимать халтуру. Фильм потом вышел. По-видимому, плохой – ни один фестиваль не принял. Я рад, что под этой чушью не стоит моего имени. Они про меня написали в профессиональном немецком журнале, что я не справился..

М.Т.: Что Вы думаете о современном состоянии кинематографа?

С.Ю.: Я больше думаю о своём современном состоянии. Невостребованность означает, что современное кино легко без меня обходится. Мне, в качестве члена Европейской киноакадемии, приходится выбирать лучших из претендентов на европейский «Оскар». Моё мнение обычно расходится с результатами голосования. Честно говоря, думаю, что они все идут «не в ногу», а я «в ногу»... Ностальгирую по имперскому кино, к которому так приятно было стоять в оппозиции.

Избранная фильмография

- Одинокий голос человека (1978, Александр Сокуров)
- Разжалованный (1980, А.Сокуров)
- Скорбное бесчувствие (1983, А.Сокуров)
- Гость (1987, Александр Кайдановский)
- Дни затмения (1988, А.Сокуров, премия Союза кинематографистов СССР за лучшую операторскую работу)
- Спаси и сохрани (1989, А.Сокуров)
- Униженные и оскорблённые (1990, Андрей Эшпай)
- Еврейское счастье (1991, Виталий Манский)
- Жизнь с идиотом (1993, Александр Рогожкин)
- Замок (1994, Алексей Балабанов, премия имени А. Москвина за лучшую операторскую работу)
- Летние люди (1995, Сергей Урсуляк, премия фестиваля Киношок за лучшее изобразительное решение)
- Улицы разбитых фонарей (1997, телесериал)
- Русский бунт (2000, Александр Прошкин, кинопремия Золотой овен за лучшую операторскую работу)



- Конец века (2001, Константин Лопушанский)
- Арсений Тарковский: Малютка-жизнь (2004, Вячеслав Амирханян, документальный)
- Элизиум (2010, Андрей Эшпай; премия фестиваля Киношок за лучшую операторскую работу)



Сергей Юризицкий – кинооператор, заслуженный деятель искусств России. Член Союза кинематографистов России, Европейской Киноакадемии ЕФА.

Родился в 1947 году в Сочи. Окончил ВГИК. С 1980 – оператор-постановщик «Ленфильма». Вёл операторскую мастерскую в Санкт-Петербургской академии кино и телевидения. Наиболее значительные фильмы поставил с режиссёром А.Н. Сокуровым («Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Дни затмения»),

работал с А.Кайдановским, А.Балабановым, А.Прошкиным, С.Урсуляк и др.

Лауреат премии кинокритики и кинопрессы «Золотой овен» за фильм «Русский бунт». Special Mentions for Camera, International Film Festival за фильм «Сильна, как смерть любовь», призы за лучшую операторскую работу за фильмы «Летние люди» и «Замок», ряд номинаций на «Нику».

В 1997 году переехал в Германию. Работает в России.

Живёт в Берлине.



га.

Участники
литературных собраний:
гости из Германии, России
и других стран

Андрей Битов

Эмиграция как оскорбление

Эссе

И увидел я, стоя на берегу, два Золотых Рога этого зверя чудовищного – Империи. Два Золотых Рога, по которым стекала, как кровь, страна.

16 сентября 1986 года вспоминаю как вторую дату рождения. Впервые я один попал в Западный Берлин.

Встречал меня сотрудник посольства с нескрываемым клеймом (по крайней мере, для подозрительного человека) – что он из органов. Вёз в машине до Стены, потому что у меня социалистической визы не было. А проехать по ГДР без визы тоже было невозможно.

И стресс перед выездом из Москвы был такой, что прибыл я на этот остров свободы, на эту странную летающую тарелку, совсем больной.

«Посольский» вёз меня, как мешок картошки. А я всё время думал, что нас обязательно задержат... Но – не задержали. Стена подалась, раскрылась – пропустила. И за Стеной, в отеле «Савой», спутник этот меня неожиданно (я-то думал, что он повсюду будет за мной ходить) оставил одного.

А отель «Савой» – это типичная для всей Европы (как выяснилось в последующие годы) гостиница в стиле арт нуво. Светлая. Щеголеватая. Сияющая медью дверных ручек и оконных переплётов. Я вошел в номер – там стояли цветы, там лежал мой роман стопками, на немецком языке...

Переживание было острое, особое: я первый раз был один в Европе. До того не пускали. И не печатали. Особенное и напряженное отношение к себе я чувствовал десять лет. И никакой перспективы, что Леонид Ильич когда-нибудь перестанет воскресать и всё это кончится, тоже не было.

Десять лет. Не прогнулся. Но прозябал.

И вот сентябрь 1986-го. Западный Берлин. Чистые, сияющие окна арт нуво. Цветы. Мой роман на столе.

И вдруг в номере начал звонить телефон. Он звонил, не переставая. Мне не позвонили разве что из Антарктиды – и то только потому, что пингины не эмигранты.

... Из Европы. Из Америки. Из Австралии.

Откуда они знали, что я приехал? Но телефон звонил, как в Смольном. Они говорили по полчаса, по часу, вздохлѣб, не экономя центы и фунты.

И я вскоре понял, в чём дело: я оказался первым из с в о и х, кого тогда выпустили.

Они говорили как бы в такую вот ямку в земле – как усадебные дети в старых русских книжках. (Потому что обратный текст не был нужен. Не нужно было знать, как я живу, как мы живѣм). Надо было поговорить с почвой.

... То есть я туда тогда вместо комка земли прибыл, что ли?

Вот так я и начал свободно перемещаться по свету. Вышел за Стену. С правом возвращения. Под хор тех захлѣбывающихся берлинских звонков.

Стал ездить. Стал набираться опыта. Стал понимать, как много на свете русских эмигрантов. Стал различать даже выражения лиц этого мира. Печать. То, что называется печать.

Конечно, я и в самиздате, и в тамиздате начитался о судьбах первой волны эмиграции. Исход. Их слово пришло ко мне не от них. А выплыло из сознания само. Как диагноз того, что случилось в XX веке со страной.

В первый раз это нашло на меня в Крыму. Я зажмурился, не зажмурился, или был на полном солнечном свету – не помню... Я увидел явно эти тѣмные массы. Не корабли, не толпы душ, не чѣрные пятна на сетчатке. Не знаю что. Тѣмные массы. От Крыма до Стамбула. Исход.

И представил себе (как-то вот кожей), каково же было им, когда история, (которая не казалась историей, а так тянулась в виде образа жизни, данного каждому по его слою, классу, положению!) вдруг раз – и оборвалась?! В ноябрьскую воду Чѣрного моря. В зыбь с красным подбоем. В смерть.

Я уже достаточно взрослым человеком, в сорок лет, потерял отца. Он долго болел. Но умер скоропостижно. И так же вот, наверно, долго не входило в разум: как это так: вот только что он был и вдруг его нет?

... И эта внезапность обрезания, свет и тьма, как если бы нам лето и зиму, ночь и день включали бы одним поворотом выключателя. Без межсезонья. Без сумерек, без весны, без осени. Вот такое, очень примитивное представление, но невозможное, острое и тупое одновременно. Потому что сам обрыв настолько невозможный, что срез его туп и плосок – как пропасть.

Пропасть – это всегда замирание сердца и какое-то потягивание снизу. А я тогда увидел пропасть как оставленный берег. Крутой. Острый. Обрыв.

И такое чувство, что под обрывом – Золотой Рог.

Золотой Рог – с той стороны Исхода и Чѣрного моря. В Стамбуле. Но всегда, во всех углах мира эти угловые точки одинаковы. Особенные точки обрыва путей: от-

куда и куда. Резко очерченные бухты отпльтия. И особые, узкие страны на карте. Спихнутые, как край одеяла, из Европы. Лоскутная полоса вдоль берега, сползающая к краю, к обрыву. К океану. (И всегда почему-то выпихивают на Запад!).

Не знаю, имеет ли это отношение к вращению земли (не у всех такая четкая осевая ориентация Запад – Восток, как у нас). Но на Запад спихнута Норвегия – узкая страна. Португалия – узкая страна. Чили, где я не бывал, – такая прибрежная, узкая страна. То есть шли, шли и вот – дошли до берега, до пляжа. Окопались. Дальше некуда. Обрыв. Океан. Пропасть.

А у нас – несуществующая, сметённая в зыбь страна над обрывом. По гениальной догадке Аксёнова – остров Крым. Позже я оказался на Дальнем Востоке. Там тоже есть угловая, береговая точка – Золотой Рог. Бухта, из которой был исход колчаковцев, всех, кто бежал через Сибирь, – уже в Шанхай. В Харбин.

И увидел я, стоя на берегу, два Золотых Рога этого зверя чудовищного – Империи. Два Золотых Рога, по которым стекала, как кровь, страна...

Шла по корабельным сходням. Шла. Шли.

И вдруг увидишь мысленно эту темную толпу людей, попробуешь понять: что же они чувствовали, покидая эту необсуждаемую жизнь?!

Тогда у меня и возникло это слово: необсуждаемость. Мы тоже ведь не обсуждаем, где живём, мы не обсуждаем, с кем живём, мы не обсуждаем, с кем дружим.

И это высвобождает огромную духовную энергию! Потому что, когда начинаешь обсуждать, попадаешь в капкан своего же вопроса. Необсуждаемость жизни, почвы, своих... наверно, это форма веры.

Веры первобытной. Не требующей духовного напряжения.

А потом я понял, что единственная страна, в которой можно чувствовать тоску по родине, не покидая ее, – это Россия.

И почему, по чему ты ностальгируешь? По прошлой России, которой ты не видел? Глупо. По будущей, которой не увидишь? Тоже глупо.

Или потому, что ты сам не совершил того-то и того-то?

... Ну непонятно.

Я все эти годы наблюдал русские общины в Берлине, в Нью-Йорке (далее – везде). Там можно не тосковать ни по языку, ни по дружбе: всё это вывезено. И тоже каким-то неправильным образом существует. Лучшее вывезено. А горечь, стресс, скрытая агрессия остаются. Копятся в подкорке.

Так или иначе, после 1986 года люди приезжали. А потом и оттуда съездили сюда. И стало это довольно бытообразно. О бытовой стороне как раз говорить неохота: как по ту сторону были богаче – по эту беднее, как возили вещи, как «пылесосами» прозвали приезжающих из Союза – за то, что вывозили секунд-хенд. (Который сами же и отдавали. Но и заказы на секунд-хенд превышали все возможности). Тогда же возник и термин «совок».

У нас ведь были разные стадии – и путч был, и штурм был, и смена президентов была, – а я ездил во все эти времена. И увидел, что есть и такая система соотношения русских «здесь» и «там»: «у вас» всё хуже, хуже и нечего ждать. Стал сталкиваться с отношением, которое было очень неприятным.

Не обязательно эта отрицательная энергия выражалась активно. Но я чувствовал некоторую готовность говорить, как всё по-прежнему плохо. И сам тоже стал слегка обижаться: что это вы как-то так? И почему – на меня?

... Тоже ожидал, видимо, подсознательно чего-то такого – по заслугам. А это одна из самых больших пошлостей: ждать, что тебе воздастся.

И уже и я набрался какой-то агрессии странной. Услышав вопрос с этой интонацией: «Ну как там у вас?», говорил: «Ну как... Как война, как революция... По телевизору – страшно. А по быту – не заметишь». Смахивал, как пыль, чьё-то скрытое злорадование: опять плохо.

И понимал: менталитет разрублен на две половины.

... Опять у нас что-то стряслось. Опять всё не так. И кто-то по телефону говорит: «Ну понимаешь, меня это интересует как нормального налогоплательщика...» Я послал: по-английски научись говорить, налогоплательщик.

Раза два-три я срывался...

И тем более это было непонятно, что я никогда не был никаким полпредом. И ничего, кроме себя, собою не представляю. И этой позиции держусь.

А месяц назад я оказался в Париже по интересному поводу. Скульптор есть такой хороший, Владимир Соскиев. Он сделал надгробие Гайто Газданову – писателю замечательному, затенённому Набоковым.

Газданов – осетин по крови. По рождению – петербуржец. Рос в Сибири, в Твери. Ездил летом к деду во Владикавказ. Гимназистом вступил в 1919 году в Добровольческую армию. С ней ушёл из Крыма в Галлиполи... среди тех темных масс. Был в Париже четверть века таксистом (иногда – клошаром). Был во французском Сопротивлении с 1942 года, кстати сказать. Лучшие свои книги написал ещё «за баранкой». По бумагам – стал профессиональным литератором, сотрудником радио «Свобода» на шестом десятке лет.

Это русский писатель – раз он писал по-русски, так ведь?!

Кто же заботится о могиле русского писателя на Сен-Женевьев-де-Буа?

Уже собирались люди вокруг нового памятника работы Соскиева. И, оглядев толпу у могилы Газданова, я вдруг увидел, что это всё – осетины.

Кто помянул русского писателя? Не французы и не русские. А люди, к которым он принадлежал по крови. И памятник ему поставили три осетина. Мощные такие.

Пивной король. Табачный король. И музыкальный король.

А я знал, что Газданов лежит неподалеку от Бунина и Андрея Тарковского

(тоже развилочка...). Ну к Тарковскому я хотел сходить, у меня тут свои причины. А к Бунину меня просила пойти моя тетушка. И я решил, что положу от её имени цветок. И я пошёл. Мне кто-то что-то подсказывал. Я искал, я блуждал в этом странном русском городе мёртвых. Нашел Тарковского, помянул. Нашел Бунина, положил цветы. Потом огаянул аллеи Сен-Женевьев... Чисто. Фаянсовые фиалки, по французскому обычаю, лежат кое-где на плитках.

Не наше кладбищенское запустение русско-советское. Приличное, очень достойное кладбище. И не буржуйское в то же время. Совсем нет.

Я особенно задерживаться не хотел, но в глаз всё время попадали фамилии на крестах и плитках. Не всегда они будили конкретные ассоциации с этим именно человеком, с этим парижским звеном своего рода.

Но несомненно – всё принадлежали к чести русской. Фамильной.

И вдруг настигло то же чувство, что в Крыму и на Дальнем Востоке. Вот когда от людей остались только тени и эти начертания букв... Точно это были буквенные тени. Тени от букв. Я не видел даже очертания памятников! Только висели в воздухе имена.

И я думал: что же это такое? Что это за ненависть была такая? Как она могла извергнуться из себя, из России такой поток имен?!

А когда они на кладбище вновь становятся толпой – это так же, как они сходили, сходили, сходили с парохода – в Стамбул. В инобытие.

И тогда у меня и вырвалось слово, что эмиграция – это оскорбление. Это общее, российское оскорбление, нанесённое каким-то образом самим себе. Оскорбление из тех, которые нельзя просто так пережить, из-за которых надо стреляться. Нужна дуэль. Но с кем и кому теперь стреляться?!

Уже сменилось поколение. Да и дуэлей нет.

Значит, надо покаяться.

А у нас никто не кается. Только все всех разоблачают. А потом расходятся на две стороны и разоблачают друга друга через забор с бесконечным горьким обвинением, с вечным пререкательством:

– Ты уехал!

– А ты остался!

Воспаленное русское обвинение. И оправданий нет.

Она внутри страны, внутри человека, а не снаружи

Я в тот приезд, перед тем как идти к Газданову на Сен-Женевьев, позвонил одному русскому парижанину. Позвонил – хотя и не люблю новых людей. А старый друг для меня за четверть века стал уже новым человеком.

Ленинградский писатель, очень талантливый. Уехал в 1974 году.

Позвонил. Говорю: «Газданова любишь?» – «Люблю». – «Ну так давай, я

приехал, завтра открытие нового памятника...» – «Нет, я не пойду. Там же будут все совки. Эти посольские, я с ними ничего об...»

Я говорю: «Какие посольские?»

Но сам уже начинаю... как бы это сказать... соответствовать. (Эти разговоры – ведь как хронический бронхит. Горечь, как осадок, годами садится на бронхи. И приступ начинается рефлекторно. От первого аллергена.)

Я говорю: «Какие совки – я разве что... Ты и меня считаешь советским?» Он говорит: «Ну отчасти и ты советский, – потому что ты не уехал».

«Ну-ну, – говорю. – Была бы честь...»

Все же созвонились. Встретились. Стали пихаться, толкаться, обниматься. Радость была неподдельная. И пошли в ресторан.

А эта странная черта ещё у Иосифа была: такая неопитская черта живущего на Западе русского (но она ведь не проходит). Такая неопитская гордость тем, что ты знаешь, как правильно ездить, как правильно заказывать. Это очень понятно, ничего плохого в этом нет. Но... Иосифу, например, было чем гордиться. Однако и он очень гордился знанием разных кухонь.

Ну, в общем, приходим. Хороший парижский ресторан. И явно мой спутник там – давний, уважаемый клиент.

Садимся. Поминаем Виктора Голявкина – великого русского писателя. Всё как-то очень хорошо. Но потом начинаются претензии: «Ты зачем меня напечатал?»

В жизни я его не печатал. Просто уже в «новое время» написал предисловие к сборнику, куда включили и его рассказ.

Начинаю повышаться тона: «Запомни, что никогда я в совке печататься не буду...» Но и совка-то, в общем, уже нет! (В том виде, в каком он был.)

И – не спрашиваю. А он всё твердит: ни за что, никогда, запомни...

Я говорю: «Миссии следить за всеми изданиями, где тебя могут напечатать, у меня нет».

Ну и так слово за слово. Слово за слово. В конце концов начинается текст: «Это ты! Это твоё ЧК подбило американские дома...» И я, не будучи особым патриотом, хватаю его за грудки, потому что – куда же мне деться?

Он меня стаскивает куда-то действительно в 1970-е годы... Потому что я так мог выяснять отношения только четверть века назад.

Почувствовал: это плохо кончится! Метнулся к стойке. Заплатил.

И, в ярости, убежал.

Но ведь он был оскорблён изначально, мой собеседник! Ни за что, никогда... Конечно, это у меня наложило на поминание Газданова. На эти массы, тёмные воздушные пятна, вновь прошедшие над Сен-Женевьев.

Не хочу сравнивать «первую волну» с «третьей». Но та же мотивация: оскорбление, оскорбление и оскорбление. Эмиграция как оскорбление.

И я вспомнил совсем другую историю в связи с этим. Вспомнил, как видел самую большую пьянку в своей жизни.

Было это в 1964 году на смычке последнего тоннеля на трассе Абакан – Тайшет, знаменитой «всесоюзной стройке» тех лет. Я приехал и как раз попал на этот день. Бездна прессы. По-моему, никто не верил, что они сойдутся с двух концов. Но маркшейдеры были точны, и я увидел эти удивлённые, запыленные обалделые шахтерские лица, которые вылезли на свет в полном недоумении, что пальчики сошлись.

Там, надо сказать, держали сухой закон – иначе народ работать не будет. А контингент был настоящий, русский, бывалый. Сибирский. То есть хотя бы половина людей – со сроками. Серьезные были люди... И вот им привезли два грузовика бормотухи. В честь трудового свершения. (В общем, чистый Некрасов. Всё та же «Железная дорога». С вечной бочкой вина, вечным кайлом и вечной недоимкой.) И началось. Я никогда не видел вот так, в секунду, нажравшегося населения. (А собралось несколько тысяч человек.)

Опытные корреспонденты тотчас же уехали. Я остался вдвоём со своей первой женой. И не на чем уехать – потому что всё пьяное и все вповалку... Значит, надо оставаться и ночевать. Как бы даже опасно: чужой человек, городской. А Московию там, за Уралом, народонаселение всегда не любило (хотя я был ещё из Питера, а Питер жаловали больше). Я и за жену боялся – молодая, красивая, посреди невменяемого населения. (А оно было такое, будто вдруг рубильником щёлкнули. Простым переключателем «трезв/ пьян».)

Но через какое-то время вдруг понял, что бояться-то здесь нечего. Потому что этот народ меня не видел. Я был другой. Но это не вызывало агрессии. А вызывало как бы наоборот – исключение меня из правил.

Нас обходили. Девятый вал гулянья мирно перехлёстывал через нас.

...Через некоторое время все стали бить друг друга.

Там площадь поселковая небольшая. Вот вам управление, вот вам чайная. Между ними, посередине, – лужа. Как всегда. В этой луже выступает разгневанный революционный народ. И поносит начальство, и падает в эту же лужу.

Там же, естественно, Красный уголок. В Красный уголок бездыханных стаскивают. И штабелями складывают.

В общем, я понял: серьезные сибирские люди, чтобы драться, держат себе только близкого друга. Близкого. Из-за которого не сядешь на второй срок. А с ним приблизительно так – если человек отошел к забору, то: «Ты меня бросил! Ты меня кинул!» – и начинается выясняловка с мордобоем.

Выбежав на парижскую улицу из ресторана, я это и вспомнил. Потому что... этнос-то всё-таки один. Необсуждаемая жизнь всё-таки одна. И ругаться можно только со своим. Только с очень близким другом.

Никто из нас никого, конечно, не оскорблял. И пили умеренно – красное вино к мясу, шато такой-то.

Но всё внутри было. От всей судьбы, от всей жизни. От всего бытия.

...Та пора была особенная пора. Та самая, когда он эмигрировал. Когда я не эмигрировал. Помню, как в сборнике «Аптекарский остров» 1967 года шел у меня рассказ «Образ». И редактор делал все, чтоб этот рассказ проскользнул в книгу. Рассказ – третий из цикла «Улетающий Монахов»: о встрече с первой любовью через десять лет. И там герои не могут никуда приткнуться... Такое блуждание пары по Ленинграду. Текст был пойман в каком-то верхнем эшелоне. Вызвали наверх для выяснения отношений мою редакторшу: как можно публиковать рассказ с таким сюжетом? И она стала защищаться: вы очень схематично пересказываете – так можно и «Анну Каренину» пересказать.

А главный редактор (он был бывшим секретарем горкома, на понижение ушёл – типичная картина предпенсионной партийной карьеры) загремел, сверкая глазами: «Не смейте сравнивать этого внутреннего эмигранта с Толстым!» Термин «внутренний эмигрант» был и тогда. В вегетарианские времена.

Первая волна, третья волна. Слово неслучайное. Не просто волна – цунами. Встала, вздыбилась, оттого что на дне идёт извержение вулкана.

Эмиграция – это то, что внутри страны, а не снаружи. Внутри человека, а не снаружи. Диссидентство и эмиграция – всё внутри накоплено. Долгим опытом подготовлено. Так и в начале 1920-х: ведь не был уже никто из господ профессоров прямой угрозой народной власти... Но – надо было всех выкинуть, извергнуть, посадить на пароход. Чтобы не смущаться, что ли?

Говорят, что на фронте гибнут лучшие – так же и тут. И выплевывать надо лучших. Это самый низший биологический принцип? Но тоталитаризм – это ведь и есть маленький мозг большого существа с одним заплывшим глазком...

Эмиграция – оскорбление страны. Самооскорбление. Но ошибку совершают люди, когда они принимают это оскорбление на свой личный счёт.

Вот тут что-то спрятано... То, что происходит с тобой, со страной, с историей, не происходит с тобой отдельно от страны и от истории. Вот в чём суть. Если отделить одно от другого – в разрыве, в пустоте закрубится многое.

Включая манию величия, она же мания преследования.

Когда страна исторгает из себя такой потенциал, она оскорбляет себя.

Парижское кладбище эмиграции Сен-Женевьев-де-Буа – памятник этому. Огромный коллективный памятник самооскорблению России.

А то, что внутренняя эмиграция, прежде чем стать внешней, копится внутри страны не по собственной воле, а по воле страны, надо помнить и понимать. В индивидуальном случае – это ещё и пощёчина.

Вот у этого писателя, с которым мы хватали друг друга за грудки, рассказ, который в России перепечатали, с которого разговор наш неприязненный и пошёл, по-моему, так и назывался: «Я с пощечиной в руке».

...Это был роскошный рассказ о том, как человек хотел ответить на оскорбление пощёчиной, – и не ответил. И вот она так у него и осталась в ладони, превратившись в твёрдую дощечку.

И эту пощечину вернул он мне. Вот эту деревяшечку всучил.

Ну что ж... Значит – ему больше некому было её вручить.

Опубликовано в журнале «Новый берег» 2003, №2



Андрей Битов – крупнейший русский писатель, мастер интеллектуальной прозы, основатель и президент российского ПЕН-центра. Родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил Горный институт.

Андрей Битов был легендой семидесятых. Его «Пушкинский дом», долго ходивший в списках и печатавшийся отрывками то тут, то там, произвёл тогда потрясающее впечатление на интеллигенцию. Но после публикации в 1978 году этого романа в США и участия в знаменитом альманахе «Метрополь» Битова перестали печатать – вплоть до перестройки. Среди многочисленных романов, повестей и эссе, написанных Битовым, такие произведения, как «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», «Оглашенные», «Книги путеше-

ствий», «Вычитание зайца», «Неизбежность ненаписанного», «Преподаватель симметрии» ...

Андрей Битов говорит, что со временем хобби становится профессией. Любовь к кино привела его к профессии сценариста и актёра, любовь к книге – к участию в дизайне собственных книг, любовь к музыке – к созданию Пушкинского джаза, где чтение черновики А.С. Пушкина сопровождается джазовой импровизацией. В 1998–1999 годах Пушкинский джаз гастролировал в Нью-Йорке, Берлине, Санкт-Петербурге и Москве. Лауреат Государственной, Пушкинской и множества других литературных премий. Живёт и работает в Москве и Санкт-Петербурге.



Светлана Василенко

Русалка с Патриарших прудов рассказ

Я как раз тогда развелась с мужем и пошла работать сторожем в зоопарк. А обедать ходила к Нине. Я брезговала есть в зоопарке: меня тошнило там. Я вдруг стала очень чуткой к запахам. Тех животных, которых я сторожила, я различала по запахам, от них исходящих.

Лисы пахли едко и колко, как ёлки. Рыси пахли кошачьей мочой: удушливым упругим облаком метались они по клетке, сходя с ума от собственной вони, кра-савицы, пытаясь убежать от тяжелого запаха плоти, и спасти от него свои чистые нежные лёгкие пушистые души, не пахнущие ничем. Медведи пахли мокрыми шубами, раскинувшись лежали они часами на полу; глядели на птиц.

Лошади пахли потом. Они пахли так, будто находятся в пути: конскими мо-крыми подмышками и сухой горячей пыльной дорогой, – даже когда стояли по-нуро, дрожали у них от нетерпения спины, и больно хлестали себя по глазам хво-стом, будто сами себе ямщики с кнутовищем.

Звери пахли по-разному, как чужие друг другу страны: зайцы пахли полем, слоны – горой, крокодилы – илом, орлы – пером, а лебеди – белым пером, во-дой и небом...

И я там, в зоопарке стала пахнуть тоже, но не собой, не человеком, а чем-то особым. Моя хлопчатобумажная курточка источала запах, будто живая, и я ча-сто обнюхивала её рукава, удивляясь и пытаясь понять этот запах, как мысль на чужом языке. Наверное, я пахла, как Ной в своём пропахшем зверьми ковчеге. Во всяком случае, когда я шла из зоопарка к Нине, уличные собаки почтитель-но принохивались ко мне, будто помнили этот празапах и боготворили его, как спасителя.

Я ходила обедать к Нине, покупая по дороге продукты. Она жила на Всполь-ном переулке, немного не доходя до Патриарших прудов. Она жила в коммунал-ке, в темной пятиугольной комнате. Я приходила, она убирала со стола пишу-щую машинку (она работала на дому машинисткой), мы садились за пустой стол и начинали пить молоко из бумажных пакетов: это было ужасно, – меня тошнило от молока. Меня тогда от всего тошнило. Я не была беременна. Меня тошнило от жизни, от её каждого мига. Я заливала в себя молоко, как заливала в себя ма-

шина бензин, если бы понимала, что без бензина станет мертва, остынет мотор.

Будто огромная жаба поселилась внутри меня, по-весеннему похотливая, урчащая, скользко-холодная – меня вот ей, этой жабой тошнило, – и я заливала её жадно-чавкающую пасть сырым пластмассовым – я бы им обмывала б покойников – молоком, – чтоб нажравшись, насытившись – она затихла бы.

Меня тогда бросил муж.

Нину тогда тоже тоже бросил муж. Мы и познакомились с ней в загсе, где они нас бросали.

В тот глухой хмурый серый день апреля – вот-вот пойдёт снег – мы с мужем зашли в загс и долго сидели в очереди, чтобы развестись, так долго, что когда, наконец, мы вышли на улицу, – там уже наступила весна. Там, на улице вдруг внезапно наступил май: растаял снег, потекли ручьи, лопнули почки, запели птицы, – и новый мир, будто только что спущенный на воду корабль, закачался под белым парусом цветущего вишнёвого сада, приглашая взойти на палубу.

Конечно, это было так задумано и сделано, чтобы загс выходил в сад, и жених с невестой сразу бы после объявления их мужем и женой, вываливались бы из темной утробы загса как единый вновь народившийся организм в сияющий и цветущий сад жизни. Этот сад не был просто садом, он как бы символизировал счастье семейной жизни.

Вот и сейчас из соседних дверей вынес жених в чёрном свою белую, будто цветущую вишню, невесту; ветер, словно ждал и дождался, сильно выдохнул, будто благословил: фата надулась парусом, семейную лодку завертело, закрутило, понесло... А навстречу им шла получить своё счастье новая пара: пожилой кривоногий мужик нес в загс на руках пожилую курносую бабу.

– Дай я пойду своими ногами, – ругалась баба. – Тебе тяжело.

– Своя тяжесть не тянет. Ты ведь теперь моя?

Баба обняла мужика за потную жилистую шею и вдруг сладко и счастливо заплакала.

– Твоя, – сказала она.

Они проходили мимо, и я заплакала вместе с ней, ей навстречу. Я стояла на порожке нашего чёрного входа и, глядя на их вход парадный, плакала от счастья, забыв, что несчастна. Я как бы даже потеряла сознание и перестала видеть.

И услышала:

– Что ему надо от моего мужа? – беспокойно спросила меня Нина, я ещё не знала, что это Нина.

Я очнулась и увидела опять цветущий сад и дорожку и наших с Ниной мужей, уходящих по этой дорожке от нас. Её Саша – невысокий, в белой рубашке, в темных кудрях, шел впереди; мой – Петя – в милицеской форме, огромный, как шкаф – позади. Мой что-то сказал тому в кудрях, и тот остановился.

– Что ему надо от моего мужа? – повторила Нина.

– Кому? – спросила я.

– Менту.

– Это мой муж, – сказала я.

– Кто?

– Этот мент мой муж, – сказала я.

Так мы познакомились. Мужья наши закурили, прикуривая, разговорились, потом вдруг чему-то рассмеялись дружно, и так, пересмеиваясь и переговариваясь, поглощённые друг другом и цветущим садом, ушли.

Мы смотрели им вслед. Они не оглянулись.

– Ты хочешь картошки? – спросила Нина хрипло. – Жаренной картошки? Ужасно хочется жрать!

Она гассировала, Нина, и получалось красиво и торжественно: жар-Рать, жарРеной кар-Ртошки, – и мне безумно, безумно, будто золотого пера жар-Р-птицы вдруг захотелось картошки и именно, – жаренной. И я произнесла на свою беду и своё счастье волшебное слово:

– Хочу, – сказала я.

Хищно, как на добычу, глянула на меня Нина тигриными холодными глазами, и я отчётливо поняла в тот миг, что душа моя продана – с молотка, за жаренную картошку – кто больше? – раз-два-три – продано, господа! И что начинается другая жизнь, странная и опасная. Об этом говорило и лицо Нины: оно в тот момент стало белым, как мел, и вокруг себя произвело сияние, словно лампа дневного света. Даже что-то начало пощёлкивать в воздухе, электрическое. О! Я ещё не знала, с кем я связалась!

Мы зашли в овощной магазин на Садовом кольце: картошки не было.

– Полцарства за картошку! – закричала Нина кому-то в потолок, будто перепродавая мою душу тому, кто там – выше потолка – подороже.

Там вняли, но поняли по-своему, и вынесли вместо серого в комьях земли картофеля – красное прекрасное вино «Алазанская долина», целый ящик. Этот магазин всегда чем-нибудь да удивлял население. Мы купили бутылку.

Сев на лавочку прямо у магазина, мы с Ниной быстро, залпом, по очереди, выпили вино, не распробовав: мы пили, будто заливали бушевавший в организме огонь – так оно и было – и не залив, пошли за другой бутылкой.

Так же быстро, как опытные пожарники, выпили мы и эту бутылку.

Пламя продолжало бушевать в нас. Мы зашли в магазин снова, нас уже запомнили, и дали без очереди.

Мы сидели на лавочке, мимо нас прогуливались люди, подошла и понюхала нас собака, но никто нас не тронул, никто не мешал нам напиться, как мы того хотели. Мы даже хулиганили. Например, Нина, чтобы представить, что пьёт из

бурдюка (из бур-Рдюка на AP-PaP-Pate с aP-Рмянином, – такую представляла она картину в своём объётом пламенем мозгу), поднимала бутылку на расстояние вытянутой руки и опускала горлышко бутылки вниз. Тугая тяжёлая кроваво-красная струя падала сверху в Нинино горло: кадык её ходил ходуном, – она глотала.

Теперь мне кажется, что это было не зря, что в этом был знак: природа уже тогда знала, куда и зачем все это идёт; мы уже были ею выслежены и избраны для дальнейшего. Слишком запомнилась мне она, эта картина, слишком влезла в меня: и порывистый, тревожный ветер, очень нервный для ветра, очень уж страстный и все понимающий, и солнечный свет, чересчур яркий для московского вечера (будто не солнечный свет то был, а долгая-долгая фотовспышка, – нас словно фотографировал кто-то навек), и эта, горячая сверкающая на солнце струя, кровавой лавой изливающаяся в Нинино горло сверху вниз, или наоборот, бьющая фонтаном из Нинино горла снизу вверх, – всё это мне кажется неслучайным, и голуби... Да, голуби. Особенно один. Он как-то пристально и, главное, осмысленно смотрел, как Нина пьёт, будто запоминая эту картину для будущего пересказа. Он не бросился, как остальные голуби к крошкам, которые я им в тот момент бросила, и даже как бы повёл плечом, когда я позвала его: гули-гули, – по-мужски как-то эдак повёл: мол, отстань...

Все смотрел и смотрел на Нину.

Справедливости ради надо сказать, что к тому времени мы были уже хороши: нам и голуби могли показаться мужиками. Мы вступили во вторую фазу: мы вспомнили о своих мужьях и загоревали.

Горевать мы пошли на Патриаршие пруды, это было рядом. Стемнело.

Мы сели у памятника Крылову, а также его животным, и я быстро-быстро рассказала Нине короткую историю своего замужества. Про то, как хорошо и счастливо жила я на своей родине у реки Волги, как собирала в степи подснежники и тюльпаны, и видела змей, греющихся весной на солнышке, и сусликов, свистящих у норок, и сайгаков, бегущих в ночи, как во сне, и про то, как приехал в отпуск сосед Петя, женился на мне и привез меня сюда, в Москву, где он остался служить после армии и где меня бросил через полгода, сразу же после того, как нам дали комнату в общежитии.

Я рассказала ей, что вот уже месяц живу в этой же комнате, за перегородкой, и каждую ночь Петя приводит с улицы женщин, которые стонут от наслаждения по другую сторону перегородки до утра, а я лежу всю ночь не сомкнув глаз и не знаю, что делать мне и как реагировать.

– Бедная, бедная, – пожалела меня Нина. – Ты его любишь?

– Нет, – сказала я ей. – Я ещё никого не любила.

– Счастливая, – сказала Нина. – А вот я пропадаю от любви, умираю...ЮД-

ЖИН! ЮДЖИН! -- закричала она вдруг так громко, страшно, надрывно, по звериному, что от этого вопля сердце моё сжалось от ужаса. На голову нам посыпались с деревьев, ломая сучья, проснувшиеся птицы. – ЮДЖИН! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

– ЮДЖИН! – продолжала она выкрикивать чьё-то нерусское имя, залезая зачем-то на колени к памятнику. – А-ГА-ГА! – заплакала она во весь голос.

Птицы, в испуге, подхватили её плач.

– АЙ! АЙ! АЙ! – голосило над нами чёрное без звёзд небо.

– А-ГА-ГА!!! – рыдала Нина, встав на колени к Крылову как на пьедестал и подняв белое, как луна, лицо к небу.

– Нина, Нина, – металась я где-то далеко внизу от её горя.

Унять её было невозможно, она редела и бушевала, как ураган.

Я хотела бежать от неё, как от сумасшедшей. Я отошла на несколько шагов. Но крик её завораживал, не отпускал, я не видела ещё такой любви, и я вернулась. Я стояла как санитар около буйно помешанной стихии, пережидая её крик, как пережидают грозу. Ведь всему же должен быть конец, думала я. Но крик всё длился и длился. Нинины силы были огромны, и не было конца её любви.

В какой-то момент она вдруг зажглась, как настольная лампа, – и светила тихим домашним светом, как ночное бра. Я подумала, что вышла луна и посмотрела вверх: луны не было. Не было и звёзд. Нина светилась сама, серебряный лунный свет шел изнутри неё, будто она проглотила луну, либо сама была телом луны. Она светила, издавая крик.

Вдруг к лунному серебряному подмешали золота, чуть-чуть. Потом побольше... Нина стояла уже вся в золотом сиянии, какое, видно, исходит от всех любящих, думала я и потому не удивлялась. Золотое пылающее знамя любви раскачивалось над миром и исходило в крике. Любуясь Ниной, я отступила на шаг, и попала в чьи-то объятия. Я оглянулась и увидела трёх милиционеров. Рядом с ними стояла милицейская машина, освещающая Нину золотым светом фар.

– Хулиганите? – спросил один, толстый и добродушный.

– Гражданочка, слазьте! – закричал Нине другой – худой, бледный и нервный. Воодушевлённая собой, Нина не замечала никого вокруг. Она продолжала выкрикивать абракадабру из рыдающих слов.

Третий без лишних разговоров подошёл к памятнику и начал дубасить своей дубинкой по памятнику Крылову, будто тот и является главным виновником безобразия. Памятник начал издавать кряжистые человеческие совсем звуки, будто стоны, и эти стоны умершего поэта Нина слышала. Она внезапно замолчала, повернула голову, потом развернулась всем телом и – глянула. Она посмотрела на них, как смотрит на человека с дерева рысь, готовая прыгнуть и растерзать: золотыми разъярёнными глазами.

– Уйдите! Не лезьте в мою личную жизнь! – сказала она им. – И что вы понимаете в любви? – спрыгивая с памятника, добавила она, и направившись прямо к худому и нервному, выговорила ему в лицо, подходя, будто плюнула: – Менты...

Зря она это сделала. Милиционеры такие же люди, у них такая же душа и сердце.

Это я ей и сейчас и потом говорила.

Но она так не считала.

Она считала милиционеров главными врагами любви. Будто милиция для того и создана, чтобы уничтожать любовь во всех её видах. Такой эсэсовский отряд, хватающий и сующий всех любящих в печь. Может быть, в них она видела подобие чертей, орудующих у огненной геенны? И загоняющих всех любящих туда по очереди? Вот и сейчас он сказал ей, этот нервный:

– Оскорблять при исполнении? А ну, залазь в машину! Поедем в отделение! Загоняй её! – сказал он своим подручным.

Они загоняли Нину, забыв обо мне. Они загоняли её в открытую дверь машины, где была чёрная тьма, трюм, темень, тюрьма. Оттуда пахло кожей.

Они загоняли её по-деревенски, откуда были родом, как загоняют козу, корову или овцу в хлев:

– Палками её! Небось пойдёт!

Но Нина была другим зверем. Нервно посмеиваясь и как бы невзначай обнажая свои острые влажные зубы, закрывая рукой лицо от удара, она мягко, попрыска отступала к пруду, увлекая за собой милиционеров.

Она шла уже по щиколотку в воде, и опять начала светиться, как раньше, тихим лунным зеленоватым светом, будто вся обмазанная фосфором, – она поплыла, – и над водой засияла её голова, как распутившаяся вдруг кувшинка, как редкий цветок лилея, как белый лотос.

– Ну что же вы? – закричала она милиционерам. – За мной!

Милиционеры, раздвигшись, поплыли за ней, как зачарованные.

Они окружили её в воде, но не знали что делать дальше, и так кружили и кружили вокруг, будто в танце. Я бегала по берегу, совсем рядом.

Выглянула луна, и тогда они только опомнились.

– Загоняй! – крикнул нервный и замаха на Нину рукой, будто она стоя гусей. Он подплыл к ней близко-близко и протянул руку к её волосам.

Нина увернулась, поднырнула, а когда вынырнула, то её лицо и его оказались совсем рядом.

– Поцелуй меня, – сказала она ему.

Ее лицо было белым как мел.

Нервный притих и смотрел на неё. Стало видно, что у него красивое, очень юное лицо.

– Ну же! – сказала Нина властно. – Целуй! Ты никогда не целовался? Хочешь, я научу тебя?

Она приблизила своё лицо к его и поцеловала его прямо в губы.

Целуясь, они ушли на дно и долго не возвращались, и когда всплыли, то не отрывали уста друг от друга.

– У тебя поцелуйный рот! – сказала Нина, наконец отрываясь от его губ, чтобы набрать побольше воздуха. – Твой рот создан для поцелуев.

И они опять ушли на дно.

Она вынырнула одна, и весело сказала:

– Кто следующий?

– Я! – вызвался добродушный. Он лежал, как надувной матрас и смотрел на звёздное небо.

Нина подплыла к нему, перевернула и увлекла на дно. Выплыла она опять одна.

– Ну? – сказала она третьему.

Третий что-то понял и бросился к берегу, неумело колошматя руками по воде. Ничего не стоило его догнать. Пойманный, он отбивался от нинино поцелуя так, будто хотел остаться нецелованным вовеки веков, навеки...

– Аминь, – сказала Нина, вылезая из воды.

– Где они? – сказала я.

– Не знаю, – сказала Нина. – Пошли отсюда.

Мы молча обошли милицейскую машину, на секунду попав под беспощадный, яростный и ненавидящий жёлтый свет её фар. Двери у машины были открыты, и оттуда тянуло ледяным холодом, как из преисподней.

– Я замёрзла, – сказала Нина, передернувшись. – Вода ещё совсем холодная.

– Май месяц, – сказала я.

– Ты где живёшь? – спросила Нина. – Пойдём ко мне. Здесь рядом.

Я оглянулась в последний раз в надежде увидеть милиционеров выплывающими из воды. Но тих был пруд. Ничто не плескалось в нем.

Далеко на берегу стояла, как разорённый и брошенный кем-то дом, милицейская машина с распахнутыми дверьми. И свет её сейчас был слаб и беспомощен перед обступившей её тьмой и несчастьем.



Василенко Светлана – прозаик, сценарист.
Член ПЕН-клуба, Союза кинематографистов
России, Союза журналистов России. С 1996
года – Первый секретарь Правления Союза
российских писателей.

Родилась в 1956 году на Волге. Окончила Ли-
тературный институт и Высшие сценарные и
режиссёрские курсы.

Среди её многочисленных книг – такие, как
«Звонкое имя», «Шамара», «Русалка с
Патриарших прудов», «Дурочка», «Проза
в столбик», «Дурацкие рассказы» ...

По сценариям Василенко поставлены
фильмы «Шамара», «Ботинки из Амери-

ки», «Горячев и другие», «Некрасивая»,
«Котлован».

Рассказы и романы Светланы Василенко
переведены более чем на пятнадцать ино-
странных языков, в том числе почти на все
европейские, на японский, китайский, корей-
ский, хинди ... Василенко удостоена многих
литературных премий, в том числе междуна-
родных: им. Набокова, Горьковской, премии
журнала «Новый мир», премии «Лучшая
европейская книга года», Высшего приза
им. С. Эйзенштейна за лучший сценарий и
других.

Живёт в Москве.



Лариса Володимирова

Берлинский Парнас (частное мнение).

Искренне не люблю ни Москву, ни... Берлин. Руины не античности, но социализма, жирафы подъёмных кранов – и бездонные пропасти кладбищ, серый воздух – дым отечественных лагерей. Так голландец, мой муж, говорит: полвека понадобится на искоренение-преодоление пришлой советской ментальности... Знаменательно название статьи в скромном журнале «Студия» (6, 2001) – «Нет равных Москве и Берлину»... – Великодержавность!

Москву стороной мы обходим, и это взаимно; но иногда приходится ездить в Германию, благо соседи. В январе, после вечера в Иерусалиме, я должна была дважды выступить и в Берлине: не 20-е годы, а всё ж накаляется русская жизнь, любопытно и радостно. Не цветаяевский Шарлоттенбург, да и набоковских следов на Курфюрстендамм не отыщешь, – а шевелится, переливается родная речь.

...Восхищённым зрением детства я ведь помню Берлин совершенно другим.

За активность в ребячьей газете нас наградили путёвкой в «Артек», среди 13-летних юнкоров из Питера – только меня и подружку Таню Березину. А в последний момент оказалось, что мест больше нет. Долгожданный крымский костёр нам заменили... какой-то Германией (туда в партийные командировки иногда катался отец, а приличных людей не пускали). Я рыдала и про себя решила: в жизни всё уже главное видела, любовь (первая) – состоялась, дело жизни (стихи) у меня есть, мир посмотреть – ну вот погляжу «заграницу», и можно смело стреляться! Благо Игорь Линчевский, известный теперь журналист, а тогда такой же подросток, обещал раздобыть пистолет.

...Мы ехали поездом, через Москву. Я сбежала на встречу с бывшим одноклассником Сашей Пальмовским, и на пионерском собрании решалось всерьёз – исключить меня из делегации.

Едва как-то замяли историю, рассовали нас по купе – одарённых танцоров, певцов и просто благовых чьих-то детишек, – как после мороженого и столичной весёлой прогулки поднялась у меня температура до сорока. – Порешили ссаживать в Бресте, оставить в больнице. Так что всю Белоруссию я пересиде-

ла под лавкой среди чемоданов, скрываясь от стукачей; а полосатый столбик границы встречала в вагонной уборной...

Уже в поезде, репетиционно, под подушку нам положили во рту таявшее печенье – нежнейшие крекеры, и раздали всем по банану. Я их видела первый раз в жизни. От счастья щипало глазёнки.

Стоял раскалённый июль, набойки вминались в асфальт, и нас поселили в пустую берлинскую школу, отделённую от детсада железной ячеистой стеной. Наши отличники-пионеры играли там в волейбол, так что минут через десять немецкие малыши, прижавшись к колючке, матерились уже без акцента.

Берлин был двухцветным – белым и голубым! Весь в фонтанах, на дне которых блестели значки с изображением юного Ленина и октябрьской звезды, – и в голубях на тех памятниках Победе, к которым нас и возили с восхода к закату.

В перерывах – давали концерты. Со сцены я видела зал: золотые старушки со взбитыми буклями, не стесняясь, пускали слезу, а их спутники в строгих костюмах депрессивно внимали заезжим артистам.

Каждый вечер готовили политинформацию: так накачивали делегацию принудительным патриотизмом.

Нас возили в концлагеря и показывали обгоревшие башмачки, потому небесно-молочный Берлин застрял в памяти и кирпичной расстрельной стеной, и живыми чёрными трубами. Даже яркие пятна фабрики игрушек, где мне подарили надувного алого крокодила, и детских кружков, где мастерили ребята плетёных слонов или лампы из запчастей, не могли перебить эту горечь.

Мы с Таней однажды отстали от группы (отдельно ходить запрещалось) и перебежали проспект на красный свет, а потом едва спаслись от немецкого полицейского – и заблудились...

Тогда меня поразило, что приличный мужчина в новом сером костюме сел просто... на урну. Правда, чистую и высокую, – мы таких никогда не видали!

Потрясли нас целующиеся подростки: мы не знали, что это возможно.

Нам показали салют, и я до сих пор помню, объехав полмира, что нигде не бывает красивей: хризантемы и розы распускались тогда прямо в небе.

Мы нашли лотерейный киоск, где я выиграла... все призы. Остался один мотоцикл, и магазинчик закрыли без предупреждения.

Нас везли по Берлину в икарусе, мы застряли у светофора, и я на всю жизнь запомнила лежащего на тротуаре трезвого немца, который протягивал руку к обтекавшей его безразличной толпе. Никто не нагнулся!

Мы не были предубеждены и настроены. Но зловещую, всё поглотившую ностальгию я испытала тогда и именно там. Мы обнимали туристов – братьев-славян, поляков и чехов: они были ближе к России. Мы целовали землю под случайной берёзкой! И всё мечтали – домой.

...Нас перекинули в Дрезден – две недели в семье, «по обмену». Но это другая история, в которой важны мои убегания в Цвингер к Сикстинской мадонне: не отпускала. И фраза на немецком «я хочу пить», после чего разочарованным школярам приносили не воду, а запрещённый на родине алкоголь. И мальчик из группы, поражённый размером шестиместной кровати, на которой он спал. И сырой фарш на завтрак. И запах немецкого страшного мыла, мягкой пижамы с рисунком, коробки шоколадных конфет с начинкой на тумбочке возле кровати, торт из настоящих бананов в желе... Обсерватория, где работала мама Сабины Вичас; да игрушечная собачка в магазине, куда привели меня – сделать подарок на память, а мне было стыдно просить, но они – догадались... Я храню до сих пор, собачку – и память о людях, о городах.

2.

В январе, когда амариллис даёт стремительно стрелки и раскрывается на четыре гигантские плоские глазастых, шестилепестковых цветов, – убираем мы ёлку и готовимся к пасхе. А в перерыве – ищем себе приключения по гололёду и солнцу, как раз до цыплячьих нарциссов.

Муж, коренной амстердамец, томительно рвётся в Берлин. – Он снова расскажет, как в 1975 году, опоздав по сравнению с моей поездкой всего лишь на год, эмигрировал... в Германию. Цивилизованную, по сравнению с Королевством, страну с сияющими рекламой дворцами сплошных магазинов. С необычайного вкуса водой – и чёрным российским хлебом, хрустящая корочка которого ничего не напомнит ему о какой-то войне.

Ему сразу оформили немецкий паспорт и дали жильё и работу. Но выдержал он там полгода... На моё счастье, конечно. Об этом – чуть ниже.

Александр Лайко, так напомнивший мне иерусалимца Семена Гринберга, который в свою очередь органично развивает поэзию антиков, написал о городе, разделяющем нас с той эпохой. – «Восточный Берлин в девяностом»:

Когда не продохнуть в Берлине от сирени,
И пьян от запаха, едва ползёт закат,
Куда бы ни попал я – на восток ли, запад –
Встречаю мертвецов блуждающие тени,
От ранних сумерек до полной темени
Они по улицам пустынным мельтешат...

К стенке плача современной литературы приставлен и Борис Шапиро, владеющий пространством опущенных цепочек Манделштама. Ортодоксы в китах населяют поэзию Германии, решающую одну главную общую тему.

К ней же честно подошёл и Вадим Фадин:

Не разорюсь на похвалы Востоку –
да что такое мне теперь Восток?
Он с места не сойдёт, он так далек,
что без него совсем не одиноко.
И Запад недостоин похвалы.
На скачках ставлю на Илью-пророка,
и в громе жду не славы, не хулы,

не откровенья, а обычной вести
о том, что мной крест-накрест пройден путь –
на Запад ли?

Но это как взглянуть –
я нахожусь в таком удобном месте,
что все концы доступны и равны;
одна забота – сохраненье чести
при неизбежном выборе страны.

Именно Вадим любезно согласился организовать мои выступления – в только что перекочевавшем из центра (конечно, к замку Шарлоттенбург, по Цветаевой) русском книжном магазине «Радуга» прелестной в своём обаянии Нины Гебхардт – и у себя дома.

...Чистота, новоселье, пока что пустые верхние полки; свет подключали при нас. Но тепло атмосферы, такой дорогой запах старых книг и изысканной полиграфии новых, участие в слове – и тяга к философии-психологии речи, – литературотерапия в разгаре – для несчастных нас, иммигрантов.

Магазин заполнили слушатели: полтора часа читать – мало; они просят и прозу, покупают все книги, записываются на неизданное собрание сочинений... Несут рукописи родных, дискеты и книги. Всё, от чего я отвыкла, перепрыгнув две эмиграции, оказавшись в разрозненной – нашей, голландской.

Настоящий писатель в России – далеко не всегда трибун, но – философ. Система оглуляет и одурачивает, – я пишу не для них, патриотов. Но верю, что будущее, по спирали... А на Нидерланды уж точно рассчитывать нечего. Едоки картофеля обязаны этим правительству.

Мои книги переведены на голландский. В последний, думаю, раз, потому

что больше – нет смысла. Невозможно перевести прозу, используя самый большой словарь в мире – как раз нидерландский, – не говоря о стихах: уровень переводчиков и филологов – ниже русского школьного. Так, недавно профессиональный переводчик с университетским дипломом наивно признался: «Я не знал до Ваших стихов, что можно писать... о не-материальном». А вся философская поэзия мира?!

– Легче пробоваться на английском, немецком. Королева дала нам гражданство, и вместе с книгой в подарок я составляю нижайшую просьбу.

– Восьмой год пассивно наблюдаю запланированную деградацию нашего общества. Уровень Ритфелд-академии, выпускающей модернистов (туда без экзаменов приняли мою 16-летнюю дочку Алису, но она вовремя увильнула от не-учебы); родного филфака (я приехала в Нидерланды открыть такой же Русский институт, не требовавший вложений, как сделала это в Израиле; получила офис, познакомилась с профессурой, поразившей отсутствием всяческого присутствия); школьных учителей и вообще педагогов. В нидерландском Союзе писателей, где я состою много лет, – 703 автора изданных книг. Неужели их можно прочесть, на любом языке? Вы с трудом найдёте таланты.

Вопиющая и горько осмеянная темнота бытовой медицины. Пещерный уровень основного населения – и среднего звена, умеющего, отдадим ему должное, считать евро в уме без ошибки, собирать вольво, создавать точнейшую аппаратуру, в том числе для поиска диоксина у ставленников-политиков.

Тончайший, как плёнка бензина, слой образованной учёбы? Он самодостаточен. И всё-таки слишком мал.

Мне ответил министр культуры: «Королевство Нидерланды в русском институте не нуждается». – И в культурном центре, ещё тогда не захваченном фсб с консулатом, и в школе, не патронируемой партийной русскою церковью. Отчего было не пригласить специалистов высокого класса, особенно гуманитариев, из других стран? Спору нет, без дачи гражданства. – Создать экспериментальный класс, если не школу: попытаться вести самых маленьких, и таким образом получить надежду возродить в стране интеллигенцию. Как будто нет рядом Германии, Франции, Англии! Словно не существует великого мирового искусства, европейской классики.

Не всё спокойно, Ваши Величества, – перефразируем Шекспира, – в Нидерландском королевстве! Не правящий ли режим ответственен за образование? Или это сознательное огулнение народа, отвлечение, традиционное в странах советов? Когда то же самое проявляется с негатива в тюремной России, то причины ясны. Держать народ в повиновении легче, если он сер и устал. Вы пытаетесь решить проблему с численностью колонистов и мусульман? Запретили б ношение национальных одежд, – половина бы схлынула...

Мой сын, в прошлом 13-летний художник, чья картина маслом, должно быть, хранится у Вас, шесть лет прожил в Израиле, семь – в Голландии, и жить уехал в Россию. Осиротив нас и подставив шею режиму. Что ему возразить? У нас тут смертельная скука, а он привык мыслить, расти.

Дочь ушла в самообразование и преуспеет: местные вузы дадут слишком узкую специализацию, ноль кругозора. Изредка мои дети берут университетские курсы за границей, получают дипломы канадские, американские, – только не наши родные.

Но если опускаться до толпы сознательно, а не подтягивать её до своего уровня, то что же ждёт внуков?! И Ваших, и Ваших, остающихся без друзей.

– Одинокий, несчастный народ. А кто виноват? Министерства. 860 миллионов лишних евро, почти миллиард, оставшийся к Новому году... Их некуда деть!

3.

Это общая распространённая трагедия – что здесь, что в Германии или в Израиле, – родители наши и дети за нами не едут. Не только дым над Берлином слишком горчит и тревожит, – сам город – социалистические раскопки, советские сувениры в священных местах, все эти шапки из кошек, матрёшки из президентов на кривых и наглых прилавках: – А кто здесь хозяин!...

Гололедица января («Дни снега на Берлине редки», по Александру Лайко), волчий вой эмигрантов на отсутствие луны, – разруха и беспросвет. Слава богу, тому и другому, – не видят всё это так близко берлинцы. Хорошо там, где мы есть. Пока снег прибывает, противореча философу Борису Шапиро:

Лёг снег, но он к вечеру стает,
как будто невидимым станет,
как будто бы белая стая
продолжила свой перелёт.

Пока же клубящимся роем
он кроет всё горько земное
и между тобою и мною
он белую скатерть кладёт.

Он делает блёклыми краски
еще не рассказанной сказки,
еще не испытанной ласки
полёта последних минут.

От этого снега отрепий
становится злей и нелепей
вселенское великолепье
пространства и времени тут.

Журналистка и тонкий критик Татьяна Зажицкая может только обогатить страну интеллектом и кругозором. Её талантливый муж Иосиф Малкиель смотрит на мир, как мне кажется, с добротой и сарказмом. Художники Марина Герцовская и Михаил Молочников (чьи работы представлены в Русском музее) тоже с удовольствием посещают литературные вечера. Проходят они, повторю, в берлинско-московском доме Анны и Вадима Фадиных – интеллигентно сдержанных, но одновременно гостеприимных хозяев.

Мы читаем друг друга, проживаем, по Тименчику, текст жизни и открываем, похоже, законы. Почему язык Достоевского и Булгакова («Мастера...») невыносим лицом к лицу, при ближайшем рассмотрении? Те же ли действуют силы, что при рассказе о смерти близких и о войне? Происходит ли нечто с кристаллической решёткой слова, языка? Нагнетание напряжения в настоящем искусстве всегда естественно, без него не может быть прозы-поэзии.

Идет расщепление – при взгляде на материал (сюжет, всю ткань текста) с другой стороны. Наступает известный момент, когда автор не от себятворящего смотрит, а как бы с другого конца, глазами и сердцем будущего читателя. Не как он оценит твой текст (что для слова неважно), а – просто взгляд сторонний, оттуда. В этот миг происходит некая трансформация, – отражение, зеркальный эффект.

Я-то гадаю столько зим, почему чем корявей, холодней сам текст, кривей строка, вздымающая углы, – тем мощней второй-пятый планы! Есть здесь взаимосвязь. Помяну не к ночи картины Шилова, придворного московского живописца-копииста: профессионализм у него высочайший, а главного – нет. Он сам говорит, будто «слышит» картину, – что он простой передатчик, как все мы. И Донцова, впрочем, то же самое пишет, но ей я не верю. Ахматова утверждала! Но Анна Андреевна в своей стилистике честно «делала» стихи, чего не понять не могла. Ан не Марина Ивановна.

Так вот что насчёт Шилова... Передатчик он или нет, а простыми и старыми (заимствованными) методами вперёд не продвинешься, сострадания людям тут мало. Недостаточно скопировать классиков, пусть крепко забытых. Обязательно вынужден открывать иные планы – пусть опущенные мандельштамовские звенья, – но нужно переосмыслить не только источник (натуру, фотогра-

фию), но ещё и собственных предшественников в искусстве. Литературные генерации, преемственность, существуют, как поколения отцов и детей. Одним планом, в лоб, ничего не сделать сегодня в искусстве, – не хватит средств выразительности. Целое формируется из осколков. Обратный процесс. Литературный язык подразделяется и по жанрам. Но когда близок к совершенству автор подневольный, то язык расщепляется совсем, рассыпается. Порядок там есть, – это мы его видим, а не читатель.

Согласился с этим посылом и замечательный питерский прозаик Олег Колиббет, чья проза недавно была напечатана Александром Барсуковым в альманахе «Эдита», к слову, тоже немецком. Улетающие со страницы буквы в рассказе Олега...

– Эта мысль самая любопытная. Получается, что совершенство – не что иное как деструктурированное нечто, порождающее структуру высшего, космического порядка. С земли её не разглядеть (читатель), и только единицам, астрономам да космонавтам (писатель) дано, если повезёт, её почуять.

Что ж, можно и так. Тут ведь в зеркале дело, но нам неизвестны законы. Мы вообще берем в расчёт только энергетику, я от неё и отталкиваюсь. Мы пишем в разных измерениях сразу, изначально. Это расщеплённый взгляд писателя, но если бы только он... Здесь ничего общего с тем, как предугадать восприятие читателя: мы пишем-то ради буквы, для слова, в ответе за текст. Отчитываясь перед литературой, – не перед редактором (даже пусть внутренним). В данном случае я говорила бы... о намоленном месте.

Шлифуемый (не от головы) текст – есть место намоленное. – Дело не в правке, но во множестве наложенных друг на друга планов. И как гениально устроено!

Мы живём всё равно на бумаге. На экране компьютера. Я даже не уверена, что мы существуем. И насколько дорог процесс творчества, настолько омерзителен всегда личный свой результат. Зато в этом закономерность, – вроде детского калейдоскопа: когда пишешь, то смотришь в такое окно. – В большую литературу.

И как права я была, что героев в книге нужно заново создавать, изначально, как делал бог. Достоевский, видимо, это знал (от кого из предшественников?), – у героев не должно быть логики в поведении. Я уверена, что он сознательно сбивал читателя с пути, заматаывая ходы алогичным. Если не только слово (язык) встрёпано, но и характеры-поступки героев, то объём – получается!

Литература – гормональное дело, одна энергия переходит в другую, половая в творческую – и наоборот. Отсюда смена протяжённости дыхания; а без темперамента ничего написать невозможно. В прозе так же важно дыхание,

как и в стихах. И это при том, что, как я вижу, проза всегда наборна и мозаична, даже в потоке сознания, где своя мощная сцепка. То есть – условно – много раз туда-сюда проезжаешь словечко, ставишь рядом по загадочному притяжению такое же родственное, причём и плюс-плюс, минус-минус. Как интригуют нас «сверху»! Настоящее произведение полифонично, в ушах звучит оркестровка.

Судя по всему, свой сгусток энергии образуется за каждым словом, включая союзы и междометия, и масса (тут явная весовая категория) этой общей энергии воздействует на читателя. Значит, идеальный материал – осколочный, как я сказала. Потом появляется слитность, за счёт прочности сплава. Единство – за счёт всех мыслимых противоположностей. Есть два пути творчества: петь, как птица – и выжимать всю «воду» из слова. Пути эти сходятся. Тут я улыбнусь: не как мысли у нас, – непохоже...

Было б время создать базу данных для вечности, виртуальное кладбище для всех желающих ну хоть как-то остаться в истории... – Фотография, общие сведения и деяния.

Ан обычно писатель, как таракан, сидит, мрачно уставясь в свой угол, а не овал. Мусолит несчастную, добела раскалённую мышку. Иногда ему «делают» праздник – вывозят в Берлин! Проезжает бумажную вотчину Барсукова; затем – Ольги Бешенковской, шепча наизусть стихи... Мимо текут шаланды по имени Volk... Бусинка-транспорт... неблагозвучное Jora... Нет, дальше не надо, – не всем же знать русский-могучий.

Приближается детство. Наша общая старость. И страсть: колбаски, как будто бы из промокашки (настоящих теперь – поискать). Фольксвагены, столь любимые Гитлером, отчего до сих пор голландцы их не покупают. Рейхстаг, на котором расписалась моя бабушка, военный хирург. Примыкающее к Бранденбургским воротам российское посольство.

...И родная моя эмиграция!

Лариса Володимерова – поэт, прозаик, публицист, журналист, правозащитник. Член ПЕН-клуба.

Родилась в Ленинграде. Окончила филфак Ленинградского государственного университета. В 1992 году выехала в Израиль, где организовала в Иерусалиме Русский институт литературы, журналистики и драмы и стала его ректором.

Среди изданных ею множества книг (стихи, поэмы, повести, романы, пьесы) – такие, как

«Иерусалимский playboy», «Забытая книга, или Русские за границей», «Возьми свою половинку». В Германии вышло 8 томов собрания её сочинений.

Международным союзом литераторов и журналистов АРІА (Великобритания) Володимеровой присвоено звание «Журналист 2007-го года».

Ведёт активную правозащитную деятельность. Живёт в Амстердаме.

Нина Воронель

Рози

Она без стука вошла в мою новую квартиру на второй день после нашего переезда из центра абсорбции в Тель-Авив. Было это в июле 1975, и я умирала от непривычной тель-авивской жары – мы приехали в Израиль зимой, в последний день 1974 года, и я понятия не имела, что такое кондиционер и как он включает-ся. Я сидела на одном из двух выданных нам Сохнутом стульев перед внушительной грудой обломков, в которую две таможни – советская и израильская – превратили наш небогатый багаж. Что с этой грудой делать, я тоже не имела понятия – я не знала ни языка, ни законов моей новой родины, тем более, что три месяца из моих израильских шести я провела, мотаясь по еврейским общинам многочисленных американских городов с призывом помочь моим друзьям, оставшимся в руках советской власти без меня.

Как она вошла, я не слышала – жара растопила мои мозги до полного отупения. Я безуспешно пыталась извлечь из-под обломков какой-то нужный мне предмет, как вдруг меня вернул к реальности тихий голос, произнёсший по-русски с сильным акцентом:

«Я могу вам чем-нибудь помочь?».

Я обернулась и увидела перед собой женщину-птицу с дивным печальным лицом, большую часть которого занимали огромные глаза. Сходство с птицей ей придавала не только маленькая, гладко затянутая узлом волос головка, но и длинные рукава белой кружевной блузки, сбегаящие с открытых глубоким вырезом плеч.

Где-то я уже видела это незабываемое лицо, оно уже раньше склонялось надо мной в полёте – то ли с неба, то ли со стены, то ли с потолка. И крылья были распахнуты, прозрачные, как рукава этой блузки, – но не птичьи, а скорей стрекозиные. Откуда-то из глубины плавающей от жары памяти выпорхнули три таких лица, не одно, а целых три. Осенённые взмахами крыл, они глядели на меня с картины – где же я видела эту картину совсем недавно?

Ну да, вспомнила: на стене салона роскошной виллы Айелы Закс, одной из самых богатых меценаток Израиля, жены председателя Кнессета Залмана Абрамова. Мы ведь в те времена были весьма знамениты как героини еврейского сопротивления, – нас показывали по телевизору и приглашали на обеды в лучшие дома.

У Айелы Закс нами угощали в тот вечер Шимона Переса, – не помню, каким министром он тогда был. Меня усадили за стол рядом с ним, и он мне весь вечер рассказывал свои впечатления от замечательной книги Надежды Мандельштам, которую прочёл совсем недавно.

Я хлопала ушами и восхищалась, какие интеллигентные в нашей стране министры. И вдруг я увидела эту картину с тремя стрекозами – она висела на стене передо мной, – и спросила не к месту, прямо посреди разговора о Надежде Мандельштам:

«Кто этот художник?»

Мне ответили: «Разве вы не видите – это Иосл Бергнер».

Я, конечно, этого не видела, – я тогда ничего не знала об Иосле Бергнере. И понятия не имела, что на многих его картинах запечатлено лицо моей соседки Розы, которая как-то сразу стала моей подругой. В следующий раз я услышала его имя, когда, гуляя по галереям старого Яффо, Саша решил купить в наш новый дом картину. Он долго выбирал из великого множества развешанных по стенам полотен и наконец, указав на одно, спросил галерейщика, сколько оно стоит. Ответ потряс нас до глубины души:

«Двадцать тысяч долларов», – без запинки сказал галерейщик.

В те времена двадцать тысяч стоили примерно так, как сегодня двести.

«Почему так дорого?» – выдавил из себя ошеломлённый Саша.

Ответ был нам уже знаком: «Разве вы не видите – это же Иосл Бергнер».

Этим ответом галерейщик дал общий очерк творчества Бергнера, а подробности я узнала позже, когда Розы, приглядевшись к моим неумелым попытками управиться с новой квартирой, приставила ко мне свою уборщицу Оснат.

Я назвала Оснат уборщицей шёпотом, чтобы никто не подслушал – политическая корректность требует называть её «озерет», т.е. помощницей, чтобы, не дай Бог, не обидеть.

Оказалось, что Оснат много лет служила озерет у Иосла Бергнера, она убирала его мастерскую. Рассказ Оснат о её влиянии на творчество самого дорогого художника Израиля звучал примерно так:

«В мастерской Иосла сначала было очень грязно, окна были такие закопчённые, что там всегда было темно. И потому он рисовал свои картины чёрными и серыми красками. Но я пришла туда и все-все вымыла. Когда я помыла окна, в мастерской стало светло и весело. И с тех пор Иосл начал рисовать картины розовым и голубым».

Многолетнее общение с Бергнером почему-то навело Оснат на мысль, что искусством может заниматься каждый. Когда ей перевалило за семьдесят, она поступила одновременно в школу танцев и в школу живописи. Чего она достигла в танцах, я не знаю, но результаты своей художественной деятельности она стала

регулярно приносить мне в зеленой папке из толстого картона. Она готова была часами перелистывать содержимое папки, хвастаясь своими успехами. Смотреть там было не на что, но отбиться от неё было трудно, и часто на вопрос, нравится ли мне её искусство, я без раздумий отвечала, что очень.

Вдоволь наслушавшись похвал, Оснат спросила однажды, не хочу ли я получить в подарок одну из её картинок, на что я с привычной готовностью объявила, что хочу. Она долго мусолила картинку, не решаясь, какую мне подарить, а потом зажав выбранный листок между пальцами, произнесла задумчиво, обращаясь то ли ко мне, то ли к себе самой:

«А может, мне пора уже брать деньги за свои картины?»

И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснила:

«Иосл за свои картины всегда берёт деньги».

Услышав мой рассказ об этом разговоре, Рози хохотала, как сумасшедшая. Особенно ей стало смешно, когда я добавила к нему потрясшую меня зарисовку из того же событийного дня. Я услышала дикие вопли Оснат из кухни и помчалась на выручку. Бедная озерет с криками свешивалась с подоконника кухонного окна восьмого этажа в тщетной попытке с опасностью для жизни поймать в воздухе что-то ускользающее и эфемерное. По выяснении эфемерным предметом оказался мусоросборник щетки для ковров, который Оснат пыталась опорожнить из окна восьмого этажа, но по ошибке выбросила на головы прохожих вместе с мусором. Её поступок был совершенно необъясним нормальной логикой – ведь на лестничной площадке рядом с нашей дверью проходит удобный современный мусоропровод.

Но Рози со смешом отвергла нормальную логику в применении к нашей обшей помощнице, поскольку та руководствовалась какой-то другой, чуждой нам логикой.

С Рози мне всегда было легко и интересно, – она была известной израильской поэтессой, и у нас нашлось много общих увлекательных тем. Мы с ней говорили по-русски, учить меня ивриту она не стремилась, а наоборот, хотела совершенствовать свой русский, привезенный её матерью в Палестину в первые годы Октябрьской революции. Хоть Рози привезли в Тель-Авив младенцем, по-русски она говорила вполне прилично, это был язык её семьи – дядя её был одним из основателей Габимы и даже одним из мужей Ханы Ровиной.

Сама она говорила о себе так: «По-русски я гораздо глупее». Особенно запомнились мне две характерные для неё смешные оговорки:

«Не стоит прислушиваться к мнению этого человека: он не профессионал, а просто любовник»,

И другая, попроще: «Я всегда держу питы в холодце, на случай, если кто-нибудь придёт».

Вторая фраза относилась к области полезных советов, на которые Розы не скупилась до последнего дня нашей дружбы, закончившейся её трагической смертью. Хотя сама Розы была не очень практична, на фоне моего вопиющего непонимания требований и правил новой жизни она выступала мудрой и всезнающей, как Старик Хоттабыч. При виде угрожающей обвалом горы обломков моего земного имущества, у подножия которой пригорюнилась я, она спросила: «Это все, что осталось от багажа?».

Я беспомощно кивнула. Тогда она объявила буднично:

«Значит нужно вызвать оценщика из страховки. У вас ведь есть страховка?».

Я понятия не имела, есть ли у меня страховка. Идея страховки была мне более чужда, чем пляски папуасов – слово «Госстрах» ассоциировалось в моем сознании со страхом, а не с защитой имущества. Но я согласилась с предложением Розы позвонить в Сохнут, и через пару недель нам и вправду прислали оценщика, который оценил наши убытки в приличную сумму, позволившую нам купить наш первый гарнитур для гостиной. Розы научила меня Masse полезных вещей – по её наводке я стала заниматься гимнастикой и продолжаю до сих пор, хоть мой возраст уже изрядно перевалил за нее, а была она когда-то на десять лет меня старше. И в бассейн «Гордон» меня привела Розы, потом она по какой-то причине отсеклась, а я так и осталась, и по сей день проплываю положенные мне метры, с годами, правда, потихоньку уменьшая обязательную норму. Мы много говорили о литературе, и я как-то перевела для нашего журнала несколько стихотворений Розы. Вот одно из них:

Маргарита (Пока не родится тело мое)
Мягкий снег в московских окошках... Проснувшись
Она не заплакала
Я знаю, шептала Маргарита, я знаю.
Сегодня что-то случится. Кружится позёмка,
Дьявол взвихряет снег в московских окошках.
В ином столетье, ещё не родившемся,
Словно призрак, бредёт человек.
Маргарита выходит на улицу, в руках у неё цветы,
В глазах жажда, чтобы он отыскал ее, наконец.
Бредёт человек и не знает, где он найдет приют.
– Ты приди, приди. Отворю тебе двери.
Только приди поскорей.
Бредёт человек и не знает, не ведает, где он найдет приют.
У Маргариты цветы увяли, у Маргариты слёзы застыли.
Мягко кружится снег, и душу её похитив,

Дьявол хранит ее,
Пока не родится тело мое.
Свирепое солнце над крышами Тель-Авива,
Душа Маргариты у меня в горле
Жажда её у меня в глазах, цветы её у меня в руках,
Я стою на улице под палящим солнцем.

Несмотря на все мои старания, большого впечатления они не произвели, – русское ухо плохо воспринимает верлибр, устойчиво взятый на вооружение израильской поэзией.

Зато Роза с успехом перевела мою пьесу «Магучка-барыня», поставленную впоследствии студенческим театром Тель-Авивского университета. Особенно удачно она перевела заглавие – не в силах передать на иврите этот грубый народный эвфемизм, она заменила его на «Има Русия», что означает «Мать Россия». И от этого пьеса приобрела какой-то высший, символический смысл.

К себе домой на чашку кофе Роза пригласила меня не сразу, а только после нескольких недель нашей дружбы. В нашем доме все квартиры спланированы одинаково, так что меня не поразила бы её просторная гостиная, не будь она так элегантно пустынна. Центр её сорокаметровой площади занимал только хрупкий диванчик, подкреплённый двумя креслами и журнальным столиком, остальное пространство было пусто, если не считать тропических зарослей высаженных в крупные горшки пальм, фикусов и кактусов. Зато стены были до предела увешаны картинами с разными вариациями знакомых мне узконосых женских лиц с огромными чёрными глазами. Пока Роза трудилась на кухне, наливая кипяток в фаянсовые чашки с растворимым кофе без ничего – так я впервые узнала, в чём состоит израильский ритуал совместного кофепития, – я бродила от стены к стене, с изумлением разглядывая несомненные лица Розы. Иногда они порхали в райских кущах, иногда райскими птицами свисали со сказочных ветвей, иногда смотрели на мир из трёхстворчатых окон – в каждой створке по лицу. Авторство картин было так же несомненно, как лицо модели.

«Это всё ваши портреты?» – ошеломлённо спросила я. На этой ранней стадии наша общая Оснат ещё не успела поведать мне о своей роли в достижениях местной живописи.

«Мои, – спокойно согласилась Роза, словно в этом не было ничего особенного. – Йосл очень любил рисовать меня, пока не увлёкся терками».

И показала мне новый, недавно изданный альбом Бергнера, где на каждой странице резвились терки – в ещё более изощрённом узоре, чем в предыдущей серии сплетались лица Розы. Терки тацевали парами и хороводами, целовались, воевали друг с другом и занимались любовью

О том, почему Иосл отказался от лица Розы в пользу терок, я узнала ещё через несколько лет – это случилось, когда они расстались. Почему они расстались, я так и не узнала, но это было не важно. Важно, что много лет подрыл Иосл был не только профессионалом, но и любовником. Этого не знал никто, даже вездесущая Оснат – ведь все эти годы муж Розы был лучшим другом Иосла. Роман Розы с Иослом был страшной тайной, а ей очень хотелось этой тайной с кем-нибудь поделиться. Даже если она всё это выдумала. И она выбрала в наперсницы меня. Это был правильный выбор – я подходила на роль наперсницы больше других её подруг, я была инопланетянином, пришельцем из другого мира, ни с кем из её круга не знакомая и даже толком не говорящая на иврите. Как-то Розы повела меня на вернисаж Бергнера в его галерею на улице Гордон. Для меня это было тяжким переживанием – я не встретила ни одного знакомого лица в шумной рядной толпе, заполнившей залы галереи. Для Розы рассказать свою тайну мне было так же надежно, как спрятать её в запечатанный кувшин и бросить в море. Она и бросила.

И всё-таки тайна выплыла наружу. Через несколько лет Розы заболела болезнью Альцгеймера и попала в психиатрическую больницу. Состояние её становилось всё хуже. Однажды ко мне ворвался её муж, его била нервная дрожь:

«Скажи, ты знала, что Иосл был любовником Розы?».

Конечно, я не могла признаться, что знала. Я сделала честные глаза и спросила:

«А с чего ты взял, что он был её любовником?».

Он протянул мне какую-то тетрадь:

«Вот, почитай».

Я полистала тетрадь: «Ты что? Разве я могу прочесть столько страниц на иврите, написанных от руки?»

Он рухнул на диван и спросил:

«Есть что-нибудь выпить? Покрепче!»

Я налила ему рюмку виски. Он глотнул её одним махом и попросил ещё. Немного помолчал, я его не торопила. А потом заговорил:

«Последнее время я навещаю её всё реже – она ведь меня уже пару лет не узнает. А вчера меня срочно вызвали в больницу – она отгрызла себе косточку указательного пальца, ту, на которой ноготь. Она давно уже не чувствует боли и грызла палец долго, наверно несколько часов, но никто этого не заметил, пока всю её постель не залило кровью. Когда я пришел, постель уже перестелили и палец перевязали. Она лежала тихая и кроткая, вся в белом, очень похожая на свои портреты – тот же крошечный рот и глаза в пол-лица. Я стоял и смотрел на неё, и смотрел, и смотрел, и не мог оторваться.... не знаю, сколько времени я так простоял... И тогда её лечащий врач, психиатр, решил мне помочь – чтобы

я не так страдал, как он мне объяснил. Он вынес мне эту тетрадь, в неё он записывал свои беседы с ней, когда она ещё что-то помнила. Он записывал, а она говорила без остановки – о своих романах. Их оказывается было без числа – она жаждала поделиться с ним мельчайшими подробностями о своих любовниках. Рассказать в деталях, как это было у неё с каждым... Главным любовником был он, – мой лучший друг, много лет, все годы, что мы были друзьями. Она расписала его очень красочно – он был мужик что надо. Она очень на этом настаивала. Я так её любил, так любил! И всегда знал, что я ей не пара – она была такая красивая, настоящая красавица! Но чтобы с моим лучшим другом, много лет, тайно от меня! А я, болван, ничего не подозревал, ничего! Недаром он написал столько её портретов!»

«А как он это объяснял?»

«Он говорил, что у неё удивительное лицо».

Спорить с этим было трудно – лицо у неё было удивительное, словно специально созданное для картин Бергнера, и я ухватилась за соломинку:

«Вот видишь! Может, это всё неправда? Просто она была не в себе и выдумала чёрт знает что».

«Нет, нет, она перечислила такие подробности, назвала даты своих поездок с ним, про которые мне врала, и вообще бог знает чего наговорила. Я прочёл эту тетрадь там же в больнице, сел на стул возле её постели и читал, читал до вечера. Она лежит там тихая, белая, почти безгрешная, и я даже не могу её ни в чем упрекнуть – она ведь давно перестала меня узнавать. И даже ударить ее, избить, как следует, нет смысла, она ведь давно перестала чувствовать боль. Но я-то не перестал!».

Все это было ужасно, и я не знала, как его утешить. Я стала бормотать какие-то пошлые глупости, всё время чувствуя, как фальшиво звучит мой голос. Он сказал:

«Ладно, хватит! Я уверен, что она всё тебе рассказала!»

Я заплакала, а он поднялся и ушёл, не прощаясь. И я осталась вся в слезах, чувствуя себя без вины виноватой.

Вскоре после этих событий Роза умерла, но я по-прежнему всегда держу питы в холодце, на случай, если кто-нибудь придёт. Недавно мне посчастливилось на какой-то распродаже купить авторскую литографию картины Йосла Бергнера, на которой Роза изображена в виде цветка на высоком стебле. Иногда, когда никого нет дома, она подзывает меня кивком головы и шепчет:

«Он был не профессионал, а просто любовник».

Я уверена, что это не о Йосле, а о ком-то другом, – ведь Йосл настоящий профессионал. А был ли он к тому же ещё и любовник, не знает никто, даже Оснат. Это так и останется тайной – моей и Розы.



Воронель Нина – поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист.

Родилась в Харькове. Окончила физфак Харьковского университета, училась в Литературном институте. Сейчас – одна из руководителей фонда, издающего журнал «22».

Была известна как переводчик «Баллады Редингской тюрьмы» О.Уайльда.

Среди её произведений 18 пьес на русском языке и одна на иврите и несколько сцена-

риев, по двум из которых были поставлены фильмы в Израиле и в Англии. Автор трилогии «Готический роман», романа «Глазами Лолиты» и повестей «Русский самовар», «Абортная палата», «Любите животных», «Обречённая любовь», «Вилла Маргарита», поэтических сборников «Папоротник», «Ворон-Воронель» и др. и книг воспоминаний «Без прикрас» и «Содом тех лет».

С 1974 года живёт в Израиле.



Александр Воронель

Начало и конец

«История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причём этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же – каждый раз новым – актуальный момент текущей культуры. Мир построен из двух времен, наличного и отсутствующего».

Б.Л. Пастернак «Охранная грамота»

Предчувствие конца христианской эры побуждает чувствительные художественные натуры возвращаться мыслью к её началу. В русской литературе такое возвращение было впервые возведено в «Мастере и Маргарите» М.Булгакова, а спустя несколько лет и в евангельском цикле стихов к «Доктору Живаго» Б. Пастернака.

Оба романа были написаны авторами, воспитанными ещё в досоветской культуре, в которой евангельские подробности составляли необходимую часть памяти образованного человека – «легенду, заложенную в основание традиции» – но оказались совершенной культурной новостью для советского читателя и до основания потрясли его воображение.

Впрочем, за последние десятилетия и западный читатель так основательно отошел от традиционного религиозного воспитания, что евангельская история выглядит для него если не полной новостью, то во всяком случае подходящим материалом для домыслов и интерпретаций.

Дэн Браун и многие другие по-своему переписали сегодня Евангелия, и их коммерческий успех подтвердил одновременно и правоту сентенции, высказанной в эпитафье, и плотность непроглядного тумана, в который погрузился исходный текст в сознании большинства читателей.

Сравнительно недавно к такому повороту подошли и в современном кино. Почти одновременно на этом поле выступили два баловня успеха – Мэл Гибсон и Ларс фон Триер, – каждый в соответствии со своим артистическим амплуа.

Мэл Гибсон, суперзвезда, многократный исполнитель ролей героических персонажей, любимец массового зрителя, не стал опускаться до переинтерпретаций, осовременивающих Евангелия, подобно М.Булгакову или Б. Пастер-

наку, ни, тем более, перевернуть их, как Дэн Браун, а поставил себе фундаментальную (но также и фундаменталистскую) задачу воспроизвести «подинную» картину события и прямо принял канонический евангельский текст за свой сценарий.

Ларс фон Триер противоположен Мэлу Гибсону во всем, но их объединяет тонкое понимание пружинок зрительского успеха. Для громкого успеха не всегда нужно потакать публике, иногда есть смысл публику раззадорить или даже умело оскорбить. Это особенно верно, если речь идёт о публике изысканной, о театральных снобах и пресыщенных кинокритиках, как в случае фон Триера. В обоих случаях публику нужно ошеломить и озадачить. С этим блестяще справляются оба фильма.

Если современная европейская публика и привыкла к мысли о распятии Христа, она привыкла к лакированному, эстетически облагоустроенному образу этой, когда-то позорной, казни. Варварские подробности мучений казнимых, физиологические детали истязаний в фильме Мэла Гибсона сделали из канонически закреплённых, освящённых (и отчасти одухотворённых) традицией сцен распятия современный кровавый триллер, способный по своей экспрессии конкурировать со сценами гладиаторских боев, заполнивших в последние десятилетия экраны кинотеатров.

Напротив, нарочито условная, обманчиво игровая режиссура фон Триера, возвращающая зрителя к упрощённым «шекспировским» театральным меркам, затрудняет восприятие неискущённым зрителем издевательски мизантропического замысла фильма «Догвилль» («Псоград»).

На первый взгляд фильм фон Триера вообще ничего общего с Евангелиями не имеет. Это история избалованной дочки (суперзвезда Николь Кидман) всемогущего гангстера-миллионера, бежавшей из отцовского дома, где жизнь людей была основана на грехе и жестокости, в поисках «простой и чистой» жизни.

Она попадает в маленький городок, заповедник американско-протестантской добродетели, где пытается на деле осуществить евангельские заповеди, которые якобы искренне исповедуют его обитатели. Здесь она встречается с местным интеллигентным молодым человеком, который так глубоко её понимает и сочувствует, что становится её доверенным лицом и представителем, осуществляющим её связи с жителями города, её советником и наставником в новой, незнакомой для неё, обстановке коммунальной жизни американской глубинки. Они ведут душевные разговоры о красоте простоты и прелести неиспорченной низкими страстями провинциальной жизни.

Городок живёт по правилам ранней американской демократической традиции, принимая все свои решения на общем собрании, неизменно сопровождаемая их пуританской, христианской риторикой. Сначала героиню увлекает эта идил-

лия. Именно о такой чистой, общей с простым народом жизни она и мечтала, к этому всей душой стремилась. Её принимают в городскую общину на условии безоговорочного принятия их давно устоявшихся правил. Она изо всех сил старается понравиться обывателям и всячески услужить каждому из них.

Однако евангельская кротость и безграничная уступчивость героини очень быстро приводят к тому, что город понемногу привыкает ею помыкать и её эксплуатировать. Молодой человек каждый раз со знанием дела объясняет, хоть и не всегда идеально чистые, но оправданные общечеловеческим несовершенством, мотивы горожан и горячо одобряет её самоотверженное смирение, утешая цитатами из Писания.

Постепенно прорисовывается евангельская ситуация, при которой город привыкает взваливать на неё свои огрехи (а в конце концов и грехи) и требует от неё всё большей самоотверженности в её преданности людям.

Через небольшое время она устаёт от своей добродетели и в отчаянии пытается бежать из города. Однако её останавливают на полдороге, напоминая о бесчисленных невыполненных обязательствах, которые она невольно на себя взяла в тщетном усилии никому и ни в чем не отказать.

После неудачной попытки бежать она окончательно попадает в рабство к окружению, выполняя всю чёрную работу, которую на неё сваливают, а весь город ещё дополнительно винит её в неблагодарности. Жители города, ещё так недавно единодушно хвалившие её бескорыстие и отзывчивость, принимают всё новые фарисейские решения о её недостаточной уступчивости, неблагочестии и несоблюдении правил.

Окончательно проясняется евангельский сюжет о Иисусе Христе, которого непостоянный и неблагодарный народ, ещё недавно обожавший (и обожествлявший) его, уже готов был развенчать и распять. Совершенно в духе современной нетерпимости к мужскому шовинизму здесь по произволу режиссёра-модерниста в качестве страдающей за грехи всех людей фигуры выступает женщина.

Молодой человек, красноречиво уговаривающий её «подставить вторую щёку», каждый раз представляет ей (и зрителю) новую изысканную казуистику, с помощью которой требует поверить, что каждое очередное надругательство над её человеческим достоинством может (и даже необходимо должно) быть оправдано духом христианской кротости и всепрощения.

После многих недель унижительной нищеты, недоедания, непосильного труда, издевательств местных подростков (включающих, между прочим, и серию изнасилований, за которые позорят её же) героиня порывает со своим гидом, добровольным идеологом непротivления и возвестителем коллективной воли жителей, и окончательно решает вернуться к своему отцу-гангстеру.

Здесь у её отца (блестящий актёр Майкл Кан) открываются черты Отца-Саваофа и религиозный сюжет окончательно выходит на поверхность. Отец прямо задаёт дочери вопрос Громовержца: оставить ли жизнь этому жалкому городку и его жителям или уничтожить всё разом.

Дочь уже в совершенно пророческом стиле приговаривает город к гибели и лично стреляет из пистолета в ханжу-идеолога (то есть попросту в христианского гуманиста), который всё это время оправдывал перед ней вопиющее лицемерие и двойные стандарты жителей этого местилища ложной веры и скрытого порока. Таким образом, евангельской легенде в фильме приписано новое завершение вполне в её апокалиптическом духе: после предсмертного взывания Иисуса с креста – «Зачем же ты меня покинул, Господи!» – Всемогущий отец-гангстер (гневный, жестокий Иегова – Бог мщения!) явился во плоти и силе и по слову Апокалипсиса разрушил весь мир греха.

Искусные условные постановочные ходы и прекрасная игра актёров отчасти прикрывают намеренное кощунство режиссёрского замысла, но рассыпанные по сценарию многочисленные намёки не оставляют сомнений. Сторожевого пса в городе зовут Моисей, и он неприкаянно торчит на краю города в виде молчаливого картонного манекена, никак не участвующего в драматическом действе, но сообщающего ему его библейскую многозначительность.

Оба режиссёра получили шумный и скандальный успех.

Мэл Гибсон – за то, что возвестил миру свою преданность христианской цивилизации, хотя при этом и не отказал себе в личном удовольствии подчеркнуть зловещую роль евреев при самом её зарождении. Как он сам сказал, отвергая обвинения въедливых журналистов в намеренном показе евреев в таком некомплиментарном сюжете: «Чего вы от меня хотите? Норвежцев там не было!»

Ларс фон Триер – напротив – за то, что он на весь мир проклял эту цивилизацию. Он проклял её за её фактическую неспособность соответствовать своим собственным заповедям и настойчивое лицемерие, с которым эта несостоятельность ею отрицается.

Впрочем, это также единственная цивилизация, которая может позволить внутри себя такое безоговорочное осуждение. Мера свободы художника в европейской (уже не совсем христианской) культуре давно выплеснулась за рамки не только христианства, но и простого инстинкта самосохранения христианских когда-то народов. Именно эта безграничная свобода провоцирует особо чувствительных граждан нагло бросать свой ботинок в истеблшмент, который не в силах удовлетворить их обострённую потребность ощущать себя праведными.

Да! Гуманистическая цивилизация дала просвещённому человеку безбедную жизнь, но она не нагрозила его сознанием неотменимого долга, который соста-

вил бы смысл этой жизни. И он бунтует, чувствуя себя обманутым. Как будто в самом начале этот смысл проглядывался. Или это была иллюзия?



Александр Воронель – известный физик, публицист и правозащитник с международным именем, с 1990 года – главный редактор старейшего русского литературного журнала «22», выходящего в Израиле.

Родился в Ленинграде в 1931 г. Окончил Харьковский университет, профессор Тель-Авивского университета

Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг, среди которых: «Трепет иудейских забот», «По ту сторону успеха», «Остался Яков один», «В плену свободы», «И вместе, и врозь», «Тайна асасинов», «В жарком климате событий» и др.

Живёт в Израиле.



Наталья Генина

* * *

«О светло светлая и украсно украшена земля Руськая!»
(«Слово о погибели земли Русской», XIII в.).

Варяги тут как тут. Привет Карамзину.
Закрою толстый том и радостно зевну.
О светло светлая!.. Порядка только негу.
Затем и разбрелись мы все по белу свету.

Назад оборотясь, вперёд мы будем плыть.
Кириллица в узде – не та отныне прыть.
Но всё ж не совладать с членистоногим юсом –
наш транспорт гужевой заходит в гавань юзом.

К далёким берегам причалила ладья.
Не воспарить душой чугунного литья,
гляди – окуклилась арбатская Психея,
всё озирается, всё спрашивает: «Где я?»

Тяжёлый медный ковш давно упал на дно.
Досадно. Между тем, поднять-то холодно,
и жажды сумрачной не утолить отныне.
О светло светлая!.. Настал черёд латыни.

И новый гулкий звук – напрасный приворот –
приблизится, взлетит – и в воздухе замрёт,
когда скривит губу матрешка расписная.
Как долго мы росли, о будущем не зная.

* * *

В расщелину меж бытиём и бытом –
разлаженным, раздёрганным, разбитым,
в дыру озонную, заветную войти,

* * *

В конце концов, какое дело
вам до меня, а мне до вас?
Душа легко покинет тело,
с него не спустит зорких глаз.

А вы, надменные потомки,
махните мне платочком вслед:
Пегас, взлетая, рвёт построжки,
а я гоню велосипеда.

* * *

Постойте!
Никогда не говорите: это неправда!
Может быть, я последний из могижан,
которого прикололи булавкой к странице.
Погодите,
я умею летать против ветра.
В конце концов,
это моё право,
я так хочу.
Но только не смотрите мне в спину,
когда я, открывая лицо, иду вам навстречу.

* * *

Песнь песней перед закатом.
Зачем ты стараешься,
сидя на ветке,
глядя на колченогий город?
Роняешь перо за пером –
уже написана книга книг.

Наталия Генина – поэт, переводчик, журналист, редактор европейского детского журнала «Остров Там-и-Тут». Родилась в Москве. Окончила филфак Педагогического института. Работала в московских издательствах и редакциях газет.

Автор книги стихов «Пятый угол» и нескольких книг поэтических переводов. Публикуется в российских и европейских периодических изданиях. Живёт в Мюнхене.

Виктор Ерофеев

Литературный передвижник

Прощайте, писатели! Прощайте, литературные собеседники! Я не верю в такую профессию – писатель. Я себя писателем не ощущаю. Я – никто, и, если когда-то на меня снизошла благодать, я тем более не дорожу писательскими компьютерными играми. Прощайте, лошади, собаки и медведи! Я бегу к тиграм. Я бегу в Уссурийск.

Русский мужик, ломая шапку, идёт на поклон к корейцу: «Возьмите меня!». Широко расставив корейские ноги, хозяин бывшего совхоза отмахивается: «Пьяница!»

Этот холст ещё не написан. Но на Дальнем Востоке уже возрождается искусство передвижников.

Каждый русский человек – готовая книга. Даже неродившиеся люди – жертвы аборта, мужской импотенции, женских болезней, общественных катастроф, случайного выкидыша – тоже книги, но только оставшиеся в рукописи, нешедшие своего издателя. Если считать, что писатель – охотник за судьбами, человек с сачком, то Россия оказывается богатейшим заповедником, который кишит всякой живностью. Чтобы стать человеком-книгой, нужно жить непредвиденной жизнью, полной непредсказуемых опасностей, крутых виражей. Нужно не иметь никаких ориентиров, компас сломан: где север? где юг? Нужно жить в среде постоянно меняющихся правил, в диком мареве неписаных и писаных законов. Всего этого у нас предостаточно. Вот почему, когда группу писателей сажают в отдельный мягкий вагон и отправляют катиться по Транссибу до самого Владивостока с обещанием поить и кормить, показывать разных людей, организовывать вечера и вечеринки, писатели испытывают глубокое чувство счастья. И неважно поначалу, какая она – Россия: богатая или бедная, окаменевшая или ползущая вперёд, – главное, чтобы крутились колеса воображения.

Наш вагон – литературный передвижник. В нём клубни проросшего световыми ливнями картофеля – писатели, корнеплоды.

Конечно, это – пломбированный вагон. Степень его безопасности невелика, ибо в нашей стране вся безопасность уже давно собрана в одной большой конторе и населению она практически не досталась, а писателям её выдают нормированно, по талонам. Однако по заведённой когда-то традиции русский писатель

сам по себе – пломбированный вагон, здесь только вовремя бы понять, куда ты едешь. Куда ты поедешь – туда тебя и повезут. Пастернака отправили на Урал, Мандельштама довели до Владивостока. Одного с почётом – заболел от ужаса, другого с позором – просто умер.

– Вон, – сказала мне моя очаровательная спутница Валя, когда мы выезжали из Владивостока в Уссурийск, махнув на жилой квартал, в сторону гастрономов, – здесь ваш Мандельштам и скончался.

В отличие от прошлых времён нынешние пастернаки и мандельштамы пока что едут в одном вагоне. Возможно, они измельчали до того, что разницы между ними не видно, а может быть, измельчало время и больше не выдаёт на-гора обременённых гением и славой лиц и строк, но этого пока никто не знает – литература глядится из будущего, даже если за ней это будущее просвечивает слабо. Во всяком случае, ручаюсь: мои смутные подозрения относительно того, что писатели не умеют ладить между собой, не оправдались. Конечно, каждый из них вёз в вагоне свою собственную правду и был обладателем уникальной творческой истины – рождественской звезды. Но каждый деликатно согласился сыграть роль шара – большого шара на елке, чтобы каждому разноцветному шару хватило на елке места, и обезглавленная елка оказалась вполне нарядной. Водка и анекдот – вот что больше всего в одном вагоне сближает писателей разных школ, даже если они никогда не читали друг друга. Да и зачем читать? Водка – главный организатор равенства в России.

Я прицепился к «передвижнику» последним, уже в Хабаровске, и должен был знать своё место в сплоченном коллективе, но опять-таки благодаря водке я смог незаметно затеряться среди маститых долгой дорогой писателей. Я прилетел в Хабаровск ночным рейсом из Москвы. Это был какой-то странный «боинг» с арабской вязью надписей в местах общего пользования – возможно, в нём когда-то летали арабские принцы, но на этот раз в нём летели мы, небесные посланцы нашей родины. Это были хмурые люди с печатью страшной усталости на лицах. Казалось, они шли всю жизнь по глине и только по глине, по жёлтой чавкающей глине, и никуда не пришли, и здесь в самолете глина высохла и присохла к их лицам и сапогам. Они как сели, так и уснули, слегка перекусив нехитрой пищей, и слабое, блеклое освещение ночного полёта усугубляло их хмурость во сне. Зато Хабаровск встретил меня золотой осенью. Правда, по дороге в гостиницу мне показалось, что здесь все водители – невидимки, что машины ездят сами по себе, только с пассажирами, но это мистическое видение в конечном счёте рассеялось: рули у них там японские, с правой стороны.

Это был только первый знак беспокойства. В чистом городе Хабаровске с хорошо метёнными улицами я оказался на главной площади, которую местный народ называет Соборно-Комсомольской. Собор-новострой и памятник победив-

шим комсомольцам, которые, победив, разрушили старый храм, два памятника нашей странной эпохе сожигания несовместимых понятий, – вот мусор наших годов. Мучаясь неизбывной скукой всякого провинциального города, но поражаюсь бурим амурским волнам с белыми завитушками пены, я почувствовал отрезанность этого куска общероссийского пирога. Билеты на Запад, в Москву, здесь стоят непомерных денег, распространением книг никто не озабочен – вы чего, правители русских земель, разве не знаете, к чему это приводит? Кто, пугая на каждом перекрёстке распадом, насаждает распад, потеряв стратегическое мышление, запутавшись в сиюминутных интересах? А на том берегу, через Амур, растут грибы-небоскребы, и многомиллионная волна катится молча на Север. Об этом без толку шумит маломиллионный Дальний Восток, его чистые города и нищие деревни. Только городские рынки Хабаровска и Владивостока, полные чёрных груздей и лимонника во всех видах, предназначенного от всех болезней, и только женщины, как всегда, спасают от панических настроений. Поев с писателями чёрных груздей, я отправился в служебный отсек литвагона и там до утра пил чай и ел шоколадные конфеты с проводницей в чёрных колготках, Таней, которой скоро стукнет пятьдесят лет. Она тоже оказалась книгой. Женские книги судеб у нас прочнее мужских. Пусть не всегда стильная обложка, пусть переплёт оставляет желать лучшего, но зато жизненный переплет в них захватывает на всю ночь. Я люблю русских женщин, хотя, может быть, не так, как Некрасов, без надрыва, без стонов люблю.

Наши мысли о нашей стране находятся в запустении. Я видел Горный Алтай и поразился разнице между его величием и слабостью общенационального интереса к его красоте и краевому развитию. Теперь я увидел Владивосток, который мог бы быть архитектурной жемчужиной Тихого океана, наравне с Сан-Франциско, но наши комсомольцы с хабаровского памятника этого не допустили. Великий город, стоящий на множестве сопок, с подъемами и спусками бегущих от океана улиц, с океанскими лайнерами в порту, заслуживает лучшей участи, похож на ещё не брошенную, но уже оставленную без ласки жену. Женская доля выпала нашему Владиву.

Но где же тигры? Ушли в Китай? В Уссурийске всё напоминает – от местного знамени до сувениров – о куда-то пропавших тиграх. В местном институте мне предложили сказать будущим филологам пару слов о смысле жизни. Передо мной сидели девчонки с испуганными лицами и мобильными телефонами. Я был их тигром. Им казалось, что я их сожру. В аудитории стоял стрекот телефонных клавиш. Из всей глобальной модернизации мира они выбрали только два пункта: телефоны и модно бритые лобки. Они писали мальчикам прощальные признания в любви. А есть ли мальчики? Кто они – ваши мальчики? Их лица озадачились тупым пониманием, предсказанным Сологубом в «Мелком бесе». Я спросил:

«Кто из вас не верит в Бога?» – никто не поднял руки. Я спросил: «Кто из вас верит в Бога?» – и опять никто не поднял руки.

Зарядившись таким родным адреналином, я отправился обедать с тремя местными представительницами культуры. В конце обеда мы рыдали от хохота. Его причины так никогда и не были определены. Потом меня отправили в местную корейскую сауну полежать на полу на нефритовых камнях и отдаться в руки корейской массажистки с когтями уссурийского тигра. Оттуда я вышел в беспмятстве – лучшем состоянии, в котором можно пребывать там, где люди – книги и мы все – заповедник.

Опубликовано в журнале: «Октябрь» 2009, №4



Виктор Ерофеев – прозаик, литературовед, автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура», член исполкома Русского ПЕН-центра. Родился в Москве в 1947 году. Окончил филфак МГУ, кандидат наук. Его диссертация «Достоевский и французский экзистенциализм» вышла в США отдельной книгой. В 1979 году за организацию альманаха «Метрополь» и участие в нём был исключен из Союза писателей, и до 1988 года в СССР его

книги не издавались. Автор книг: «Русская красавица», «Хороший Сталин», «Жизнь с идиотом», «Мужчины», «Русские цветы зла» и др. и многочисленных публикаций в журналах. Его произведения переведены на множество (более 20) языков мира. Лауреат премии имени В.Набокова, кавалер французского Ордена литературы и искусства. Живёт в Москве.



Вячеслав Куприянов

* * *

В поисках места,
где нет чиновников,
и много стихов и песен,
углубляюсь в лесную глушь,
словно в славянскую вязь –
жизнь
за любым деревом,
солнце
пишет день с красной строки,
здесь я верю в грядущее
птичьего пенья,
в пользу перелистывания листвы,
говорю сам себе:
хорошо, когда в каждом
есть
хотя бы один
поэт.

Эрнст барлах – изваяние летящего ангела

Трагически необтекаем
все ветры века
проходят сквозь
его лицо

Ангел в военной шинели
Ангел в больничном халате

Необходимы цепи
чтобы он не рухнул на землю

Необходимы своды храма
чтобы он не взлетел

**НО МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ
ЧТО ЗВЁЗДЫ
СТАЛИ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
ДРУГ К ДРУГУ**

Вячеслав Куприянов – поэт, переводчик, прозаик. Член ПЕН-клуба, Союза писателей России, Почётный член Союза писателей Сербии. Родился в 1939 году в Новосибирске. Окончил Московский институт иностранных языков. Переводил поэзию с немецкого, английского, французского и испанского языков и языков республик СССР. Собственные стихотворения публикует с 1961, прозу – с 1970 года. Он – один из пионеров современного русского свободного стиха.

Автор 25 сборников стихотворений, 5 книг прозы, 3 книг переводов, изданных на разных языках и в разных странах, а также многочисленных журнальных публикаций. С 1985 года регулярно издаётся в Германии. Участник многих международных форумов и фестивалей поэзии. Лауреат Европейской литературной премии за 1987 г., награждён Литературным жезлом Союза писателей Македонии и премией фестиваля в Гонезе (Италия). Живёт в Москве.

Александр Люсый

ЛАОКООНГРАД, или Стамбул с невидимыми змеями (отрывок)

Мой штурм Золотых Ворот

Кажется, ни один город в истории не был осаждён так часто, как «объект всемирного желания» Константинополь. Основательно отгородиться от возможных проблем и предаться наукам – таковы были сокровенные желания Феодосия II (401 – 450), внука Феодосия Великого, последнего императора единой Римской империи. Он вступил на престол в семь лет и правил почти полвека, сначала вместе со своим отцом Аркадием, а после его смерти в 408 году – единолично. Несмотря на рекордный для той империи срок правления, Феодосий не держал бразды управления государством постоянно в собственных руках, поручив ведение дел своим царедворцам и родственникам, в частности, префекту претория Анфемию, который и затеял обнесение Константинополя новыми мощными стенами. В 438 г. был издан кодекс Феодосия, собравший воедино все императорские постановления, начиная с 312 г. – тоже своеобразные юридические стены для империи.

Утром второго стамбульского дня, выйдя из отеля и окинув взглядом мечеть Лалели, возвышавшуюся напротив подобно изящной, как ферзь, мусульманке в официально полузапретном для интеллигенции хиджабе и с ноутбуком под мышкой, я повернул в противоположную сторону. Всего две остановки электричкой вдоль берега Мраморного моря – и станция Йедикюле, по названию крепости, от которой начинаются искомые стены. Прежде чем углубиться в пространство стен, мы всё же попали на рождественское богослужение в греческой церкви у Студийского монастыря (V век), где хранилась голова Иоанна Крестителя.

Крепость Йедикюле (Семь башен) – это уже турецкое укрепление, встроенное в Феодосиевы стены с Золотыми воротами – «Вратами Царьграда». Считалось, что именно через них в город может вступить освободитель Константинополя. По этой причине суеверный Мехмед обошёлся с ними не столь почтительно, как с Софией – приказал сразу же после взятия города замуровать. Прямого доступа к ним нет и сейчас. Безуспешно попытавшись обойти крепость слева, вдоль моря, где попал в зону каких-то складов, я отправился к первым из десяти Фео-

досиевых ворот – и наткнулся на живой комментарий к рассуждениям И. Бродского из его «Путешествия»: «Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, – места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно. Не красный-жёлтый-зелёный, но белый-жёлтый-коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо это именно вода – Босфор-Мрамора-Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии... Отделяющие ли? О эти естественные пределы, проливы и уралы! Как мало они значили для армий или культур – для отсутствия последней – тем более». Светофору дорожное движение помогал регулировать странный регулировщик со свистком. Внимательно присмотревшись и сравнив его непрезентабельный вид с лоском всех трёх, кто стоит в Стамбуле при исполнении, я сделал вывод, что это примерно тот же случай, что показан в фильме Акиро Курасавы «Додескаден («Под стук трамвайных колес») по роману Сюгоро Ямамото с вполне стамбульским названием «Город без времён года», в центре которого образ безумного вагоновожатого воображаемого трамвая. Ворота узкие, но протиснуться между вполне послушным, несмотря на множество заверений в обратном, такому регулированию транспортным потоком и сохранившим гостеприимную приветливость, несмотря на поглощённость своим занятием, регулировщиком удаётся.

Сразу же за воротами – пустырь с самодельным мужским туалетом у высокой стены позднейших времен. Быстро разочаровавший путеводитель «Афиши» рекомендует пробираться к Золотым Воротам через этот пустырь, но впереди несколько основательных оград, и начавшийся дождь делает их почти неприступными. Далее, вдоль крепостных стен – мусульманское кладбище. Идём вдоль него, входим в ворота. Из сторожки навстречу выходит сторож...

И здесь опять нужно сделать отступление, вспомнив отмеченный Петром Вайлем («Гений места») «парадокс Байрона», влюблённого в Турцию и Восток, помышлявшего о переходе в ислам, но умершего на войне с любимой Турцией. «Вот слово турка – это надёжное слово, а на греков полагаться нельзя... Мне нравятся греки, эти симпатичные мошенники – со всеми пороками турок, но без их отваги». Эта турецкая отвага проявлялась в моём случае в том, с какой самоотверженностью обитатели Стамбула буквально бросались на помощь, если я обращался к ним с каким-то вопросом или даже просто с вопросительным взглядом. Выслушав меня, Мустафа, как звали сторожа, размышлял недолго. Приглашающе махнув рукой, он повёл меня между могил, а потом – вспрыгнув на могильный барьер, как принявший на себя руководство атакой после гибели командира боец на бруствер окопа. Мне ничего не осталось делать, как последовать за ним (Мустафа, как позже выяснилось, не просто кладбищенский работник из стамбульского варианта «Смирненного кладбища», а вполне искусство-

вед, изложивший потом краткий обзор всех мусульманских кладбищ Стамбула и окрестностей). Так, перепрыгивая с ограды на ограду, оставляя на них следы кладбищенской грязи, которые должен был смыть дождь, мы приблизились к Золотым воротам, на фоне которых и сфотографировались, как два достигших общей цели бойца. Конечно, это очень промежуточная цель. Подойти к Золотым воротам вплотную, похлопать ладонью по стене, к которой князь Олег прибывал свой щит, всё же невозможно.

Как там, в «Олеговом щите» Пушкина, по случаю Андрианопольского мира:
Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победы стяг,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.

Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели,
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

Олег не увидел Софии, но всё же был, по преданию, укушен отечественной гадюкой по возвращению. Наша же «дружина», потоптавшись, у дышащих ревностью Олега промежуточных заросших стен, без малейшего «бранного гула» начинает обратный путь. Мустафа показывает напоследок изображения нынешней, непрезентабельной, как давешний регулировщик, этой типичной римской триумфальной арки и её эффектно реставрированного, приукрашенного вида. Обычно так бойцы после боя хвастаются перед однополчанами фотографиями любимых (сам не воевал, сужу по фильмам). Уровень владения английским собеседников не дал возможности понять вполне, попытка ли это художественно-исторически воссоздать прежний вид, или проект будущего реального восстановления. От какой-либо платы за неожиданную штурм-экскурсию Мустафа категорически отказывается.

Элегические насилия

Начинается путь вдоль самих стен Феодосия и рва перед ними. В византийские времена в глубоком рву обитали дополнительные защитники – львы. Теперь осевший ров больше напоминает природную балку, в которой раскинулись огороды местных жителей с простенькими сараями и навесами. Иногда эти навесы пристроены непосредственно к стенам. По мере удаления от Мраморного моря огороды сменяются пустырями и свалками с мешками мусора, содержание которых не всегда помещается внутри. Один мешок выглядывает из византийской арки, как новый варвар, или объект новой эстетики, совмещающий дадековатые идеи.

Развалины стен приобретают всё более причудливый вид, порой предстают как заросшие мхами и травой природные объекты, например, скалы Карадага («Как взорванный готический собор»). Стена в целом становится похожей на огромную змею, то скрывающуюся под землёй, то взметающую вверх свои извивы. «... А завтра кованной пятой, // Как змия спящего раздавят, // И прочь пойдут – и так оставят...». Помимо Пушкина приходит на ум Лаокоон, но не скульптурный работы Агесандра, Полидора и Афинодора, а живописный, кисти Эль-Греко.

На картине Эль-Греко «Лаокоон» (1610-1614) доминирует не вертикальная, как на скульптуре, а горизонтальная, в изгибах и отражениях, пространственная ось. То есть, это именно горизонтальный, раскинувшийся вдаль Лаокоон. Змеи тут вписаны в пейзаж Толедо с нависшим над городом грозовым небом, что придаёт картине героико-трагический характер. Христианская интерпретация привносит мистический смысл духовного возрождения. Мужское начало подчеркнуто заменой воды скалами и в небольшой фигурке бегущего коня, изображённого в самом центре полотна – символ животной жизненной силы, скорости и красоты. Эль Греко откровенно любит любоваться обнажёнными мужскими телами, и некоторым сцена представляется барочной интерпретацией гомосексуальной оргии. Безжизненный «мраморный» цвет фигур на картине Эль Греко подчёркивает мотив смерти как метаморфозы культуры, мифологической смерти как залога бессмертия в искусстве. Интересно, водятся ли тут, в сезон, настоящие змеи?

Величайший из прямых, как змеиный бросок через столетия, последователей Эль-Греко Сальвадор Дали создал своего Лаокоона – «Лаокоона, терзаемого мухами». Лаокоон напоминает гонимого мухами-эриниями Ореста в истолковании Сартра (в пьесе «Мухи»). Получается, косвенное Предчувствие – не не гражданской войны, а современного состояния стен Феодосия в Стамбуле. Летом тут путника если не змеи, то мухи, конечно, атаковали бы, как и, по путеводительскому предупреждению, полутолые подростки напротив цыганского

квартала, единственного криминогенного участка Стамбула. На картине Дали зритель как бы подсматривает за покрытым непонятными укусами Лаокооном наедине со змеей в старинной арке каменного сооружения. Лаокоон тут без сыновей, Дали и чьи бы то ни было сыновья, кроме Сына Божьего – непредставимо. Считается, что таким образом художник живописно преодолевает сексуальный комплекс мастурбации и кастрации, эффектно демонстрируя его зрителям. Лаокоон отождествляется тут с образом Нарцисса, имя которого производно от греческого глагола «цепенеть», «столбенеть». Согласно литературоведу Владимиру Топорову («Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте») в русской традиции взятие города – продолжение архетипа взятия женщины – добровольного или принудительного. Но не был ли штурм Константинополя прежде всего штурмом-кастрацией (поединком кастраций)? Во всяком случае концептуальная победа одного типа кастрации над другим просматривается.

Я же тем временем приблизился к ставшим главными в Стамбуле воротам Топкапы. Весной 1453 года напротив находилась ставка Мехмеда с самыми большими в мире осадными орудиями, в том числе – чудовищной бомбардой работы венгра Урбана, палившей ядрами весом в тонну. Правда, проломить стены именно тут так и не удалось, турки ворвались в Константинополь через случайно, или предательски, не запертую калитку северней, где сейчас проходит шестиполосный проспект Ватан (Родина). А из ворот Топкапы выходит из города проспект Тургута Озала. (Тургут Озал – один из отцов турецкого экономического чуда).

Величественные стены и башни здесь полностью восстановлены из современных стройматериалов, стоят как новенькие, хоть обратно мортиры заряжай. И я так и остался в неуверенности, что в действительности исторически более пристойно – данный новодел или развалины с мусором, на просторах и в куцах которых элегия чревата спонтанным и не вполне опрятным, возможно, и насильственным романом с авангардом.

Постфеодализм

Третий день был посвящен европейской части Стамбула по северную сторону бухты Золотой Рог. Было решено, доверившись нескольким видам городского транспорта, включая фуникулер, добраться до центральной площади Таксим и оттуда спускаться по Стамбульскому Бродвею – улице Истиклаль по историческим районам Пера и Галата. Но от площади Таксим недалеко до Дома-музея Атаюрка. Пришлось пойти и на такое смещение эпох.

Каким предстал Стамбул перед взором русского путешественника в XIX веке? «Взгляните на этот круг важных османлы, которые под широким навесом платана, в Киреч-бурну, сидят, сложа ноги, дышат веянием моря, курят и дрем-

лют, и от времени до времени отгоняют сон несколькими глотками чёрного кофе: для них дремотный отдых предпочтительней сна; он имеет также свои сновидения, или вся окружающая природа представляется в эти заветные минуты одним светлым, необъятным сновидением, вся окружающая жизнь сливается в одну таинственную фантазмагорию и протекает пред ними, как протекает Босфор со своими кораблями, с дрожащим отражением холмов и роцц и чудных зданий, опрокинутых в его зеленой влаге. Какие мысли какие разгульные мечты обвиняют тогда душу, как этот плющ, которого зелень обвиняла старый пенёк платана и образовала на нём капризные арабески! ..Только турки могут по воле призывать эти утешительные грёзы, усаждающие часы их отдыха, потому что отдых для них есть не одно спокойствие тела, не одна лень двигаться и говорить, но лень мыслить и способность изгонять из головы все заботы – всё, что тревожит нашу душу и делает для неё отдых до того утомительным, что мы спешим оглушить ум шумом света ли кровным трудом, и тем только можем избавиться от внутренней бури бунтующих мыслей... Как не позавидовать этим философам Босфора, для которых жизнь – давно решенная задача? У турок всё, что принадлежит к ленивым их удовольствиям, доведено до высокой степени совершенства, и в этих-то предметах наиболее высказывается их умение жить и наслаждаться. Все европейские народы заимствовали от них названия дивана и софы, но, увы, как далеки самые предметы от своих роскошных азиатских образцов!» Диалектика второго из Трёх Римов, покуда он оставался столицей: София – София – софа.

Но современный Стамбул совершенно не таков. Конечно, в потоке спешащих, как и в любом мегаполисе, людей, возникают группы как будто бы ничего не делающих сидящих мужчин. Но пьют они, кто бы мог подумать, не кофе, а чай (кофе забыт). Турецкий чай благоухает, и его вкус не разочаровывает; он почти ничего не стоит, стаканчики, правда, маленькие. Поздняя любовь турок к чаю слилась в моём восприятии с любовью к кошкам. Почти возле каждой витрины на тротуаре стоят лотки с кошачьим кормом. Кошки все ухожены и попадают в самых неожиданных местах – не только на клумбах, но и на банкоматах. А у витрины ювелирного павильона на Большом рынке для отдыхающей кошки был предназначен не только лоток, но и стакан с чаем.

К собакам же отношение осталось такое же, которое было показано Иваном Буниным (1905):

Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами –
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.

Город другой, а отношение к собакам прежнее. Собаки не протестуют, помнят, чьё мясо съели, стойчески вылёживаются.

П. Вайль, описывая в «Гении места» личные впечатления от Стамбула, из двух «гениев» предпочтение отдаёт Бродскому, а не Байрону: «Свидание на площади Галатасарай, в центре Перы. К молодому человеку подходит девушка в традиционной одежде – платок до бровей, балахон до пят. Он левой рукой показывает ей с возмущением часы, а правой коротко бьет в челюсть. Зубы лязгают, время сдвигается, пара под руку отправляется по проспекту Истиклааль». Не думаю, чтобы это были стамбульцы с их сегодняшним уровнем «космополитической лояльности». Скорее всего, приезжие из глубинки – анатолийской или европейской (в Европе турки, насколько я понимаю, живут замкнутыми, с отчасти остановившимся временем, общинами). Когда я ехал по Стамбулу в переполненном трамвае, и на освободившееся место моя спутница усадила меня, сама отказавшись сесть, то сидевший напротив турок средних лет, быстро оценив внимательным взором ситуацию, встал и весьма настойчиво усадил её на своё место.

Проходим мимо Галатасарайского лица (турецкого аналога Итона), британского и российского (где служил ещё Константин Леонтьев) консульств, заходим в Музей Перы. Здесь выставка английской ориенталистской живописи XIX века. На фоне портретов Байрона и прекрасных одалисок, пейзажей и баталий особенно запомнилась картина «Укротитель черепах». Мужчина с благородной бородой, в красном халате и чалме, сжимая в руках дудочку и забросив за спину миниатюрный барабанчик, внимательно наблюдает за окружившими его с воздетыми вверх головами черепахами. Достойная ориенталистская реплика в адрес чисто европейской линии Лаокоона.

К концу дня силы были почти исчерпаны, но я воспользовался своей очередью на предъявление предпочтений и, преодолевая очевидное сопротивление спутницы, настоял-таки на посещении Музея современного искусства (существующего в Стамбуле лишь с 2004 года – ни старого вокзала, в соответствии с общеевропейской модой, ни заброшенной электростанции не нашлось, и музей разместился в складах порта Каракёя). И змеиное кольцо Стамбула, отвергнув черепаший утопии как устаревшие, здесь опять замкнулось, можно сказать, окончательно, щёлкнуло, как наручники на руках героя антитурецкого фильма Алена Паркера «Полуночный экспресс». Собственно, их было только три картины, в которых стены Феодосия (а какие ещё?) сжимаясь в кольца, устроили воистину змеиную авангардную пляску в наручниках успешного беглеца на просторах мегаполиса, среди множества интересных а, может быть, и нередко вторичных образцов турецкого авангарда (вникать в каждую картину времени уже, конечно, не было). Это городской ландшафт без названия Мустафы Оразана, на котором кольца стен напоминают одновременно и карусель, и электропилу для промышленной ликвидации воспетых Дали комплексов, и две картины живущего в Нью-Йорке Эрола Акьяваса – «Падение крепости» и «Слава победы».

«Стенная» живопись складывается в своеобразные стено-метаморфозы, сознание циркулирует в этих головокружительных превращённых формах, возвращаясь в итоге к исходному пункту. Кажется, что сами вещи приобретают при этом опыт головокружения. Акьявас добивается синхронизации значения архитектуры, понятия и цвета. Вводя на других картинах в качестве персонажа камень Каабы, он пытается осуществить в качестве сверхцели каменных метаморфоз художественный синтез трёх главных религий (христианства, ислама и буддизма).

Кто заглянет под крышку турецкого ноут-бука?

Боспор на протяжении многих столетий играл роль защитных стен Константинополя. Четвёртый день был посвящен дворцу Долмабахче, султанской резиденции со времён Крымской войны, роскошного азиатского Версаля, в котором самый популярный художник – Айвазовский, и азиатской части Стамбула, куда отправились на рейсовом катере. Особняки прибрежной части азиатского Стамбула имеют, пожалуй, более европейский вид, чем противоположная часть, напоминая берлинский Грюнвальд (где, между прочим, разместилось посольство Турции).

«Стамбул раздавят, но не таков Арзрум», – пророчески предрекает Пушкин в «Путешествии в Арзрум» сущность турецкой революции Ататюрка, уход государственного центра вглубь анатолийской Турции (хотя новой столицей стала Анкара, а не Эрзрум, переносить столицу в столицу Турецкой Армении тогда было бы всё равно, что переносить столицу советской России в Киев после голодомора). Последние годы аскетичный Ататюрк прожил во дворце Долмабахче, где и умер в 1938 году. В давке при прощании с вождем погибло всего десять человек (думаю, читателю ясно, что слово всего имеет тут сугубо компаративистский смысл, указывающий не на меньший, сравнительно с российским вождизмом, масштаб народного почитания, а на лучшую организацию похорон и большую внутреннюю дисциплинированность ощутивших нужду в прогрессе масс, ставших опорой режима «демократии на штыках»).

Когда траурный поезд шел ночью по Анатолии, крестьяне выходили со свечами к железнодорожному полотну, чтобы освещать ему путь. Знаковый жест совершил один мальчик, положивший на рельсы монету, а потом показывавший её всем со словами: «К ней прикоснулся Ататюрк!». Новая Турция как будто бы выросла из этой монетки (как Россия – из укуса от Софии). Пятнадцать лет его тело пролежало в Этнографическом музее новой столицы, пока там не был построен едва ли не самый роскошный мавзолей в стиле античного храма.

– Фашистское государство, – отозвался поэт З., благословивший меня ранее на поездку на Родос, на родину «Лаокоона». Хотя тогда он признался, что боль-

ше всего подружился на Родосе именно с продавцом-турком. Но сейчас, в промежутке, было бегство из Душанбе всех русскоязычных родственников жены, и он предостерегает: «В любой момент от них можно ожидать удара ножом в спину»!

Довольно равнодушный к проблеме биологической жизни и смерти Иосиф Бродский объяснял читателю в «Путешествии в Стамбул», что его расизм – форма мизантропии < ...>

Томас Венцлова, интерпретируя эссе Бродского, не касается мотива расовой чуждости поэта обитателям Стамбула. В Ленинграде Бродский не был по духу антисоветским диссидентом, он пытался публиковаться в официальных изданиях даже после ссылки. Гораздо большим диссидентом он проявил себя именно в Стамбуле.

Если бы во главе советской идеологии стоял не Суслов, а Георг Лукач, для которого «Один день Ивана Денисовича» был образцом коммунистического отношения к труду, то и Бродский не стал бы «тунеядцем». Однако если бы советская империя всё же рухнула, а поэт дожи бы до наших дней, можно только догадываться о направлении его идейно-этнической эволюции.

Главной проблемой для Европейского Союза является не Россия (с «особостью» которой, как говорится, «всё ясно», вопрос о вступлении её в ЕС в ближайшие годы не стоит), а именно Турция, – признавался известный немецкий политолог на VII Всемирном конгрессе «Европа – наш общий дом» в Берлине в 2005 году. Так что теперь Турция, как и её культурная столица Стамбул, охвачена, как Лаокоон, двумя змеями-искушениями – европейским выбором или лидерством в исламском мире.

Высшим выражением культурного признания Турции стало присуждение Нобелевской премии по литературе Орхану Памуку (2006), писателю, на мой взгляд, вторичному (включая его признания в мастурбационных юношеских комплексах в построенной на цитатах автобиографической эпопее «Стамбул»). Мне куда интересней «сторонний» стамбульский взгляд неустанного пропагандиста творчества Памука в России Глеба Шульпякова. Если смотреть на литературу сквозь призму культурологии, то самый текстуально перспективный комплимент турецкой женщине сделан именно им: «Ягодицы шершавые, на ощупь напоминают крышку ноутбука». А попади я в аналогичную ситуацию, вряд ли удалось бы и на тактильном уровне вырваться из круга крепостных ассоциаций.

Париж стоит обедни, а воля к Стамбулу – пиара Памуку. Надеюсь, и мне ничто не помешает посетить Стамбул ещё раз.



Александр Люсый – писатель, критик, журналист. Член ПЕН-клуба, Союза российских писателей и Международной конфедерации журналистов. Старший научный сотрудник Российского института культурологии. Родился в 1953 году в г.Бахчисарай (Крым). Окончил Симферопольский университет (истфак) и Литературный институт. Автор многочисленных публикаций и книг: «Пушкин. Таврида. Киммерия», «Крымский текст в русской литературе», «Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентич-

ность», «Нашествие качеств: Россия как автоперевод». Участник многих российских и международных научных конференций. Лауреат премии «Артиада». Живёт в Москве. Выступления Александра Люсого в нашем салоне стали составной частью его вышедшей в Германии книжки «Новейший Аввакум: Текстуальная революция в России в свете Первой мировой Крымской семантической войны.»



Александр Мелихов

Новые Гоголи

Когда в феврале 1952 года на заседании комитета по премиям его имени Сталин заказал: «Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины», – уже через полгода в отчётном докладе XIX съезду партии Маленков повторил эти слова в творческом развитии: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины». Советские означало «ни на что серьёзное не покушающиеся».

И в скором времени, правда, уже после смерти вождя, среди пишущей братии, вечно компенсирующей иронией свою униженность, разошлась эпиграмма: «Мы – за смех! Но нам нужны / подобрее Щедрины / и такие Гоголи, / чтобы нас не трогали». Однако и сам отец народов, и фрондёрствующие литераторы объединили Щедрина и Гоголя в некую каноническую пару в силу затянувшегося недоразумения. Жёлчный Щедрин во всей природе не пожелал бы благословить ничего осуществившегося – любая мечта могла быть ему симпатична разве что в стадии гонения, куда могла служить обличением иных, господствующих сил. Ведь всякая идеология есть не более чем попытка придать всеобщее значение каким-то личным впечатлениям, а личные впечатления от человеческой природы у Щедрина были более чем безрадостные – в результате щедринская картина мира отличалась от гоголевской не менее, чем «История одного города» и «Пошехонская старина» отличаются от «Тараса Бульбы» и «Старосветских помещиков». И если бы Щедрин когда-нибудь пожелал воскликнуть «О Русь моя! Жена моя!», то беспристрастные мемуаристы немедленно подтвердили бы, что и к жене он относился примерно так же, как к России: «Дура, дура, дура, дура!.. Ну, куда её понесло в этакую погоду! Как за малым ребёнком смотреть надо... Уж будьте добры, пошлите ей навстречу какие-нибудь тёплые вещи!»

Восторженный же Гоголь вполне возвышенно относился и к монархии, и к православной церкви, и вообще был убеждён в глубинном превосходстве русского духа над погрязшим в рационализме Западом. Поэтому Гоголь долго пребывал в простодушном убеждении, что, бичуя казнокрадство, взяточничество, хамство, он помогает власти и народу двигаться к ослепительному общему будущему. И когда его «Ревизор» сторонниками существующего порядка был назван клеветой на Россию, а противниками, наоборот, превознесён в качестве горькой правды о той же самой России, Гоголь был потрясён. Впоследствии он даже пытался доказать, что изображал не людей, а собственные пороки, что госу-

дарственное устройство Российской империи не требует никакой радикальной перестройки, а просто всем подданным, от чиновников до частных лиц, нужно добросовестно исполнять свои обязанности, однако его книга «Выбранные места из переписки с друзьями», где он это проповедовал, принесла ему главным образом проклятия и насмешки.

Всё это прекрасно известно всем желающим и отчасти даже нежелающим. Менее известно гоголевское письмо Жуковскому, в котором великий сатирик повторяет на все лады: «Искусство есть примирение с жизнью». И Гоголь совершенно прав, если как следует осознать, что едва ли не со всеми своими трудностями и лишениями человек может примириться и сам – если ощущает себя красивой и значительной, а не жалкой и ничтожной личностью.

Да вот только без помощи искусства это почти никому удастся...

Работая с людьми, пытавшимися добровольно уйти из жизни, я постепенно понял, что мало какое несчастье способно сломить нашу волю к жизни само по себе: убивает несчастье в сочетании с унижением. И социальные унижения ранят нас так больно прежде всего потому, что наша униженность в социуме открывает нам глаза на нашу униженность в мироздании.

А когда мы сознаем всю нашу мизерность, мимолётность и беспомощность в бесконечно могущественном и бесконечно равнодушном космосе, нет такой царапины, которая не сумела бы нас убить. Подобно тому, как убивают тысячи и тысячи микробов, а защищает лишь иммунная система, так и привести к самоубийству могут тысячи и тысячи причин, а защитить только одна – наша фантазия. Система иллюзий, позволяющая нам ощущать себя красивыми и значительными. Как правило, эта система, именуемая культурой, бывает коллективной и наследственной, ибо лишь редкие безумцы способны верить в собственные, а не чужие сказки. Потому-то из-за имуществва способны убивать только особые злодеи, а за оскорбление национальных химер может убить почти каждый (или, по крайней мере, закрыть глаза, когда это делают другие): в наших химерах, в наших иллюзиях заключается наше главное достояние, их сохранность – вопрос не комфорта, а буквально жизни и смерти.

Мы и людей делим на своих и чужих прежде всего по тому, разделяют они или не разделяют наши духоподъёмные грёзы. И защитить эти грёзы мы можем либо возвышая «своих» и себя вместе с ними, либо принижая своих обидчиков. Гоголь пользовался и первым, и вторым методом – Щедрин только вторым: принижением врагов. Однако у Гоголя и приниженные, враги оставались забавными и совсем не страшными, едва ли не милыми, с кем примириться совсем не трудно, а у Щедрина они бывали и страшными, и мерзкими, и утешительным в их образе для нас было одно: мы явно были лучше. А вот Гоголь в своей многократно и поделом осмеянной книге осмелился сказать нечто обратное: мы вовсе не луч-

ше, мы виновны не менее, чем наши обидчики. Именно этого ему и не простили либералы, для кого как людей интеллигентных, политические убеждения были и остаются лишь средством морального самовозвеличивания. Ведь интеллигентом человека делают вовсе не знания, но забота о красоте своего морального облика. И если во всяком начинании его волнует прежде всего собственная красота, а не практический результат, – значит он интеллигент, если даже ему неизвестно, что Волга впадает в Каспийское море.

Либеральная интеллигенция многократно и заслуженно упрекала Гоголя, что его положительные герои не жизненны. Но разве его Хлестаковы, Ноздрёвы, Маниловы и Чичиковы так уж и с подлинным верны? Порождения гоголевской сатирической фантазии лишены главного, что делает человека человеком, – они лишены внутреннего мира. У них нет мечтаний, исключая самые карикатурные типа маниловских или хлестаковских, им неведома тоска, страх смерти, боли, старости, у них нет тяжелых воспоминаний об утратах и обидах – нет всего того, что сближает нас даже с самым страшным злодеем или последним дураком, стоит нам заглянуть в их воображение. Гоголевским прохвостам сострадать невозможно, равно как и невозможно ненавидеть их – ими можно только любоваться. Отсутствие внутреннего мира Гоголь возмещает внешней яркостью с такой гениальной избыточностью, что мы замираем перед его созданиями, разинув рот от восхищения.

Покуда он не начинает вместо преувеличенного порока изображать столь же преувеличенную добродетель. Только тогда наше критическое чувство встает на дыбы – ибо преувеличенная добродетель служит нам упрёком, тогда как преувеличенный порок, напротив, порождает в нас ощущение собственного превосходства, почти совершенства: уж по сравнению-то с этим жульём мы честны, уж по сравнению-то с этим дурачьём мы умны!

Короче говоря, сатира Гоголя действительно примиряет нас с господствующим злом, а не возмущает против него, и если, призывая на помощь партийному руководству советского Гоголя, Маленков имел в виду нечто подобное, то нельзя не восхититься его государственной и особенно литературоведческой мудростью. Всё-таки на литературоведа его совсем не учили.

Впрочем, мы все учились понемногу. Но, тем не менее, прекрасно выучились презирать тех, кому удалось восторжествовать над нами в реальной жизни. Однако у самых благородных из нас это презрение не настолько прочно, чтобы они согласились забавляться образами своих врагов, превратив их в уморительных кукол. Поэтому если бы сегодня явился новый Гоголь, то, скорее всего, он навёл бы на себя упрёки в легковесности, в легкомысленной склонности шутить такими святыми вещами, как коррупция и равнодушие к демократии.

Это у интеллигенции. А народ попроще нового Гоголя скорее всего и вооб-

ще не заметил бы: и возвеличивать себя, и оплёвывать своих обидчиков он сегодня может гораздо более простыми и действенными средствами политической пропаганды, обеспечивающей чувство единства с великим государством. Тем же квазиинтеллигентам, кто обречён на поиски индивидуального спасения, по вполне доступной цене открыты любые дары массовой культуры. В мире иллюзий сегодня в цене примерно то же, что и в реальной жизни, – оружие и наркотики. То, что побуждает к реваншу и пробуждает веру в победу, и то, что дарит забвение.

Недавно одна английская газета через своего московского корреспондента обратилась ко мне с вопросом: возможен ли в сегодняшней России сатирик гоголевского накала? Вот, мол, Россия царская, недемократическая, позволяла Гоголю весьма обидные обличения. А есть ли в нынешних литературных рядах такие же свободно дышащие и свободно издающиеся обличители нынешней бюрократической системы, казнокрадства, взяточничества и прочих общеизвестных пороков современного российского общества?

Иными словами, живы ли сегодня гоголевские традиции?

Несколько лет назад Союз писателей Петербурга вместе с правительством города учредили литературную премию имени Гоголя. И обнаружилось, что Гоголь породил не одну, а несколько традиций – поэтому премию разделили на три номинации, каждой из которых было присвоено имя какого-то программного произведения Гоголя. Премией «Шинель» награждались произведения, сострадающие судьбе маленького человека; премией «Тарас Бульба» – произведения на «героическую» тему; премия «Нос» предназначалась для фантазмагорий.

И я могу с полной ответственностью утверждать, что хотя ни одну из победивших книг нельзя назвать равновеликой гоголевским архетипам, многие из них даже в эпоху «перестройки» проходили бы в печать с большим трудом, а пройдя, сделались бы хотя бы кратковременной общественной сенсацией. В нынешнюю же эпоху подавления свободы слова все они были опубликованы совершенно свободно и оживление вызвали главным образом среди любителей литературы, но не среди политизированной общественности. Сегодняшняя власть контролирует лишь самые массовые – телевизионные – каналы информации, писателям позволяя забавляться в их песочнице чем заблагорассудится. Как заместитель главного редактора журнала «Нева» могу засвидетельствовать, что за все годы моего редакторства даже самые острые публикации ни разу не вызвали ни малейшей реакции власти.

И эта позиция власти – мели Емеля, твоя неделя – обижает писателей гораздо сильнее, чем прежние преследования.

Нового Гоголя без поддержки власти – поддержки, заключающейся в гонениях и запретах, сегодня создать невозможно.

Да и одной социальной поддержки было бы маловато: чтобы явились новые Щедрины и Гоголи, необходима вера в какой-то высокий идеал – и горечь от поругания этого идеала. И хотя с поруганиями обстоит вполне благополучно, достаточной горечью нам всё равно не напитать своё перо, ибо эти поругания уже давно представляются нам чем-то нормальным.

То есть мы сумели примириться с ними и без помощи искусства.

А значит нам больше не нужны ни Щедрины, ни Гоголи.

Опубликовано в журнале: «Зарубежные записки» 2009, №20



Александр Мелихов – прозаик, критик, публицист. Член ПЕН-клуба, Союза российских писателей.

Родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской обл. Окончил мех-мат. факультет Ленинградского университета. Кандидат наук.

Печатается с 1979 года. В 1990-е годы начал выступать как публицист. Автор книг: «Провинциал. Рассказы», «Новый Геликон»,

«Роман с простатитом», «Весы для добра. Повести», «Исповедь еврея», «Горбатые Атланты, или Новый Дон Кишот» и др., а также многочисленных журнальных публикаций.

Лауреат премий Союза Писателей Санкт-Петербурга и Русского ПЕН-клуба.

Живёт в Санкт-Петербурге.



Вадим Месяц

Ласточке

До рассвета ласточке влюблённой
выдан отпуск в дождике метаться,
сквозь косой туман воздушных просек
вылетать морянкой да ищейкой.
Знаешь, если думать без истерик,
что покой берётся ниоткуда,
я всего лишь ветренный матросик,
так же невпопад одушевлённый...
Лёгкий, будто сшитый белошвейкой,
в первый раз сходя на новый берег,
не смогу ни встретить, ни расстаться,
скользкие деньки свои забуду,
раз уж мне вернуть не довелось их.

* * *

Нет солёнее ветра, чем суховей.
У океана лишь два лица.
Одно – в дуге молодых бровей,
другое – в оспине мертвеца.
На земле есть россыпь цветных церквей,
все похожие на отца,
словно женщины, судьбой своей,
выходят из-под резца.
Земля черепиц, черепах, червей,
копошащаяся пыльца,
пред которой сколько ты ни трезвей,
все равно упадёшь с крыльца.
Неизвестно, каких голубых кровей
в лесах – нету им конца,
надрывается трелями соловей,
он не вылутился из яйца.

Из Набокова

Поезд, качнувшись, входит в сезон дождей.
мы в чем-то ошиблись, прощаясь на полпути.
Вдоль перрона проходит контурный мир смертей,
раздвигая наше безмолвие впереди.

Окна вагонов прошли, как ряды белья,
лица стали белее твоих простыней.
Разодрав занавески, из них показался я,
ты побежала, ты оказалась ясней,

сопричастней повальному ливню, на каблуках.
Выдергивая из воды ряды перстной
вместе с пальцами в перламутровых жуках,
от которых, барин, не покрасней.

Потом ты упала. И я пробежал
за вагоном одним, пробежал четвёртый вагон.
Ты рыдала, скомкалось платье. И я продержал
свой ужасный поклон.

Я вернулся в купейное, вытащил туз крестей.
Познакомился с девушкой в шерстяных чулках.
Поезд, качаясь, катился в сезон дождей.
И жизнь моя покатилась в других берегах.

* * *

Приносили в горницу дары:
туеса берёзовой коры,
молоко, тяжелое, как камень.
Я смотрел на ясное крыло,
говорил – становится светло.
Голову поддерживал руками.
Мама в белой шали кружевной
пела и склонялась надо мной.

поставят к окошку поближе
его согбенное тело
и он будет глазеть то и дело
на торговцев рисом и перцем,
на китайцев, индусов и персов.
Но любовники из Парижа
никуда и не выезжали,
они едут в своём дилижансе
из Парижа в Париж уж полжизни;
и полжизни лежит вверх ногами
из фарфора китайского старец
и не знает, что он не китаец
и мечте его сбыться не скоро.



Вадим Месяц – поэт, прозаик, переводчик,
редактор, издатель.
Родился в 1964 году в Томске. Окончил Том-
ский Университет, кандидат физ-мат. наук.
В 1993 году переехал в США. Координатор
русско-американской культурной програм-
мы при Стивенс-колледже (Нью-Джерси).
Редактор ряда антологий. Руководитель
издательского проекта «Русский Гулливер».
Опубликованы шесть книг стихов и пять

книг прозы (в том числе – романы «Лече-
ние электричеством» и «Правила Марко
Поло»). Автор многочисленных журнальных
публикаций.
Лауреат сетевого литературного конкурса
«Улов», финалист Букеровской премии,
первый лауреат Бунинской премии. Первая
премия англоязычного журнала «Новые
голоса в поэзии и прозе» (США).
Живёт в США и в Москве.



Андрей Рево

* * *

Работа над стихом? Да нет – игра в слова.
Сложение из них лабазов и скворешен.
О чём ещё гудит ночами голова?
А днём о чём? К грамматике привешен
закостеневший в правилах глагол
и жжётся с неких пор не слишком интенсивно.
И двигается стих, как двигается вол,
как будто двигаться неловко и противно
по вязкой колее родного языка
(родного ли – уже? чужого ли – пока?)

* * *

Литою формулой словесной –
чудным магическим ключом
я отомкнул чулан небесный,
где мой пернатый скопидом

хранит осколки мыслей странных,
тяжёлых чувств, нелепых снов,
эмоций тайных, слов туманных,
благих потерь, дурных даров...

И я душою торопливой
внимаю их нестройный звон,
пока мой ангел терпеливый
очами к Богу обращён.

* * *

вот светлый этот слой, вот тонкий этот сдвиг,
где тайные слова нашёптывают музы,
наяды, нимфы... чтоб опять возник
метафор жёсткий кий, холодный контур лузы,



Андрей Рево – поэт, музыкант. Редактор европейского детского журнала «Остров Там - и - Тут».

Родился в 1950 году в Москве. Учился в музыкальной школе-десятилетке им. Гнесиных, имеет диплом дирижера-хоровика. Был

солистом камерных ансамблей («Мадригал» и пр.). Стихи публикуются в российских журналах и в европейских альманахах, стихи и рассказы для детей – в российских и германских изданиях.

Живёт в Мюнхене.



Евгений Рейн

* * *

Промчавшись «Красною стрелой»,
Он поглядел в окно с тоской.
Лежала зимняя заря,
Как жизнь, убитая зазря.

* * *

Над всей Голландией безоблачное небо,
и рыбки плавают в искусственном саду,
и бабочки ныряют в высоту,
но кайфа нету

Велосипедное звенит, гуляет море,
оранжевый кидается футбол,
но это всё-таки совсем чужой глагол –
Урания не пара Терпсихоре.

И, глядя на расплавленный кристалл
цветного льда в оттаявшем стакане,
я понимаю всё это заране:
как мало жить и как я не устал.

Японское море

Пиво, которое пили в Японском море, –
Слабое пиво. О слабые воспоминанья!
Разные случаи, которые происходили,
Драки и выверты – разве мы их понимали?

Лезет Японское море, шипя побелённую пеной;
Юркий прожектор то лица покажет, то локти.
Тычется в море один островочек военный,
Где отпускают под воду подводные лодки.

Юрий Ряшенцев

Голос

Это голос, которым владеет приятель мой. Но
я не видел его с детских лет. Это очень давно.
Это дольше, чем люди живут, чем иная страна
сокращает пространства, пытаясь вернуть времена.
Ну, сначала он жил в эбонитовом доме, потом
переехать решил в современный пластмассовый дом.
Он выходит из дома не часто: разок в пару лет.
И тогда я волнуюсь: он жив ли ещё? Или – нет?
Нас разводят, как водится, семьи, забавы, дела.
Да и тяга увидеть друг друга исчезла. Прошла.
Но какой ещё звук возвратит мне восторг той поры,
тот спортзал, крепко пахнущий потом и счастьем игры,
тех приземистых ловких красавиц, исчезнувших вдруг,
как дурнушки в тени молодых и высоких подруг,
тот наш сад тополиный, и медленный гром вдалеке,
и грозу на доступной для кроля и брасса реке...
В доме – тишь. Лишь унылый комар да собака у ног.
Но – звонок!.. Показалось?.. Да нет же, ей-богу, звонок!

* * *

Я заметил: слагая стихи, сокращаешь минуты.
Вот – строфа, и вторая, и третья, а дня уже нет.
Это средство, конечно, слабей безотказной цыкуты,
но из жизни с маразмом довольно надёжный билет.
Что ж я долго живу?.. Но спасибо за это, спасибо!
В зрелых красках и звуках и зарослях трав бытия
я плыву, как счастливая зоркая честная рыба,
говорящая рыба, послушная рыба твоя.
Этот мир, всё равно – под водой, на земле или в небе, –
он – то темный тайник, то – открытый и светлый родник.
Слушай, батюшка, или хоть ты, муаллим, или ребе,
я так долго живу, и я так к этой жизни привык...

Я молчу: на устах моих... как бишь там – печать,
потому что если открою рот, то совру.
Ну, а врать мне не хочется. Хватит. Я жил в те дни,
где молчанье было согласьем. И я молчал.
А теперь я молчу по-честному, извини,
просто я не пойму таких городских начал.
Я молчу на детской площадке. Детишек нет.
Паучок деловито торопится по песку.
По площадке летает пластиковый пакет,
словно пьяное привидение в отпуску.
Суетится внутри ограды, идёт на взлёт,
трепыхаясь, кувыркается на лету.
Но, что странно, находит выход: широкий вход –
и без страха устремляется в пустоту.

Январь

Кусок небосвода причудливо вырезан кровлями.
Пей крепкое зелье мороза – заплачено кровными!
Январь-стеклодув потрудился над хрупкими кронами,
и столько стекла,
что бей не жалея, и счастье уже обеспечено.
Луна обесточена. Всё в эту ночь обесцвечено.
Лишь полночь бела.

Хоть в ночь на четверг всё шныряет среда, как наводчица,
немилую зиму, и ту прогонять мне не хочется.
Пускай эта белая стужа меж зданий полощется.
Ведь ясно душе:
торопишь весну, и апрелю, быть может, икается,
но жизнь подгоняешь, а смерть там, вдали, откликается,
и близко уже.

Бывое, как южное лето в полярных зимовниках,
в нас бродит. И русский наш рок о фабричных гармониках
тоскует. И рокер безумный «Похмелье в Хамовниках»
дудит на трубе.
И Божий «жигуль» – шина скачана, дверь разворочена, –
не ведая, где там проезжая часть, где обочина,
гуляет себе...



Юрий Ряшенцев—поэт, прозаик, киносценарист, мастер мюзикла. Член ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы
Родился в Ленинграде в 1931 году. Окончил филфак Московского педагогического института.
Печатается с 1955 года. Автор книг стихов: «Очаг», «Часы над переулком», «Иверская сторона», «Високосный год», «Дождливый четверг» «Прощание с империей», «Есть в графском парке чёрный пруд», «Ланфренланфра» и романа «В Маковниках. И больше

нигде». Автор многочисленных публикаций в журналах: «Знамя», «Новый мир», «Арион» и др. и текстов песен к спектаклям «Бедная Лиза», «История лошади» и многим другим театральным представлениям, а также к кинофильмам «Три мушкетёра», «Гардемарины, вперёд!» и др. Переводит грузинских, армянских, украинских, бурятских и др. поэтов.
Лауреат премии журнала «Арион». Живёт в Москве.



Людмила Улицкая

Они жили долго...

Они были так давно старыми, что даже их шестидесятилетние дочери, Анастасия и Александра, почти не помнили их молодыми. За их длинную жизнь успели умереть все родственники, друзья, соседи – целыми домами, улицами и даже городами, что неудивительно, поскольку они пережили две революции, три войны, без счёту горестей и лишений. Но они, в отличие от тех, кто умер, с годами становились только крепче.

Николай Афанасьевич и Вера Александровна, каждый по-своему, шли к вечной жизни: муж приобретал прочность и узловатость дерева и очертания птицы-ворона, носатого, неподвижного в шее. Бывшее мясо высыхало, сам он всё более покрывался гречневými пятнами, сначала на руках, а потом и по всему телу, и из бывшего блондина превратился в тёмнолицего, картонного цвета большого старика с коричневой зернистой лысиной. Жена старела в направлении каррарского мрамора: желтоватый оттенок, имитация тепла и жизни в холодном лице, угрожающая монументальность.

Прежде врачи всегда рекомендовали Вере Александровне сбросить вес, сесть на диету – она лет пятьдесят тому назад даже ложилась для похудения в Институт питания к профессору Певзнеру, но после восьмидесяти лет про вес врачи больше не говорили. Она всегда питалась так, как она считала нужным, если только продовольственные обстоятельства, всегда тесно связанные с политическими, это позволяли. Схема питания Веры Александровны была строгая – завтрак, обед и ужин, и никаких немецких бутербродов там не предусматривалось. Главное, чтобы продукты были качественные и еда свежей, то есть не разогретой, а только что приготовленной.

В голодные времена она проявляла большую изобретательность в составлении меню обеда при наличии двух исходных продуктов – пшена и картофеля. Николай Афанасьевич всегда снабжался по хорошей категории, поскольку стал профессором ещё в конце двадцатых годов и преподавал нужный всем инженерам предмет «сопротивление материалов» в старейшем институте Москвы.

Каждый из супругов по-своему являл собой образец высокого сопротивления тех материалов, из которых они были построены. Вера Александровна, со своей стороны, поддерживала это сопротивление семейных организмов с помощью правильно налаженного питания.

Давно отошли в прошлое те годы, когда она собственноручно мыла, чистила и варила, – к этому давно уже были приспособлены дочери. Родились они вопреки всем медицинским прогнозам после многолетнего бесплодного брака, во времена, когда бездетность перестала огорчать Веру Александровну и даже стала видаться как некоторое преимущество. Явились вдвоём, неожиданно-негаданно и предоставили матери новое поле деятельности: до этого она жила мужней женой, избегая не столько работы, сколько момента заполнения анкеты, связанного с любым трудоустройством: происходила Вера Александровна из старого княжеского рода, но фамилия ее, скромная на слух, известна была каждому русскому по учебникам истории и старым названиям улиц. Николай Афанасьевич, несмотря на свою аристократическую внешность, был из крестьян Тамбовской губернии, его отец погиб в империалистическую войну. Такова была анкетная правда, защитившая семью от гонений. Сам Николай Афанасьевич был человек осторожный, к тому же и хитрый: всю жизнь прикидывался, что недослышит. На службе считался чудаковатым, но специалист был превосходный, и расчёты всех сооружений периода развёрнутого строительства социализма обыкновенно попадали к нему на стол для проверки. Он был хорош и как теоретик, но в практических делах считался в своём деле самым авторитетным...

Глубокая гармония была между супругами. В том, что делала Вера Александровна, был тот же самый почерк, что и у мужа: точность, тщательность, презрение к любой приблизительности. Пирожки у Веры Александровны были сделаны по тому же рецепту, что расчёты Николая Афанасьевича, – безукоризненно.

Науку благородных девиц – домоводство и рукоделие – Вера Александровна преподавала дочерям со всеми подробностями и деталями, давно уже никем не востребованными: кому теперь было нужно знать, как делать мережку, чистить в домашних условиях фетровые шляпы и готовить профитролы превосходные из муки конфектной... Всё это, конечно, шло в добавление к тем предметам, которые Александра и Анастасия проходили в обыкновенной советской школе. Значительная часть материнской науки была преподана девочкам в те три года, что жили они в городе Куйбышеве, в эвакуации, и девочки сопровождали мать не на родственные именины и визиты, а на колонку, с детскими ведрами и бидонами: воды для всякого рода гигиенических целей требовалось много, а водопровод в зимнее время часто промерзал и городское водоснабжение нарушалось.

С самого раннего детства завелась в головах двух полуаристократических девочек некоторая шизофрения: шов между всеобщей жизнью и их домашним бытом был нестерпимо груб. Сверстники их не принимали, да и они сами всегда чувствовали полную неспособность слиться с коллективными чувствами – радости ли, гнева или энтузиазма. Это полностью компенсировалось их особым двуединством, иногда случающимся у близнецов. Мать была с ними строга и требо-

вательна, отца они видели мало – он всегда работал сверхсильно, сверхурочно, без выходных и праздников. Перед отцом они обе благоговели, а матери побаивались. И любили родителей безоговорочной рабской любовью.

Годам к пятнадцати способные девочки были научены полному объёму дамских наук, включая и небольшой французский язык, преподанный матерью. В школе они учились очень хорошо, но Вера Александровна приняла решение, что высшего образования им не надобно: у неё самой такого не было. Когда Вера Александровна сообщила об этом мужу, он с ней не согласился. Между супругами чуть ли не впервые в жизни возникло разногласие, которое быстро выветрилось: Николай Афанасьевич привык во всём, что не касалось его профессиональной деятельности, полностью доверяться жене. А жена считала, что девочки, получив, например, профессию медицинских сестёр или библиотечных работников и выйдя замуж за порядочных людей, достойно пройдут своё жизненное поприще. Ко всему прочему она боялась пребывания на виду, в своё время даже отсоветовала Николаю Афанасьевичу идти на повышение, которое ему предлагалось. Возможно, тем спасла жизнь ему и всей семье...

– Не надо лишнего. Медсестра – хорошая профессия, во все времена нужная, не останутся без куска хлеба. И не забывай, Николай, что девочки наши – отличные хозяйки, – не без гордости добавляла Вера Александровна. – А мы стареем, и в доме будет медицинская помощь...

– Может быть, тогда уж лучше в медицинский институт? – сделал последнюю попытку Николай Афанасьевич.

– Нет, нет, это слишком тяжёлая профессия, – закрыла тему Вера Александровна, и Николай Афанасьевич, требующий от своих студентов ясности мысли и логической последовательности в рассуждениях, смолчал. Жену Веру он любил больше, чем ясность мысли или логику.

Девочки, закончив школу, поступили в лучшее в Москве медицинское училище и через три года стали медицинскими сёстрами – обе получили красные дипломы... Эти дипломы, между прочим, давали большие преимущества при поступлении в медицинский институт. Но поступили они на работу в Боткинскую больницу.

Тут открылось ещё одно достоинство профессии: работа в отделениях была суточная, и расписание можно было составить таким образом, чтобы одна из дочерей всегда была под рукой у Веры Александровны – для услуг, разговоров, мелких поручений и основных обязанностей, связанных с приготовлением обеда, тщательной уборкой квартиры и непременной послеобеденной прогулкой по Староконюшенному переулку.

С некоторых пор Вера Александровна перестала выходить на улицу одна. Рослая, в большой шубе зимой и в легком троакаре летом, она плыла в сопро-

часов выходила из дому с бутербродами в сумке, а Александра развязывала марлевый мешочек с домашним творогом для мамы, с вечера подвешенным над раковиной, вынимала из холодильника яйцо, чтобы оно согрелось прежде опускания его в воду, и сорок минут варила овсянку, помешивая её большой серебряной ложкой. Завтрак подавался в восемь часов тридцать минут, обед – в два, и приходившая в три часа Анастасия обедала на кухне одна, в то время, когда Вера Александровна совершала свою неторопливую прогулку в сопровождении Александры. Анастасия в одиночестве с отвращением проглатывала суп – она с детства ненавидела супы, – брала себе котлетку, разрезала надвое и устраивала бутерброд. И мама, отсутствовавшая, не знала о творившемся безобразии. Папа же пребывал этот час в послеобеденном отдыхе...

Вечерние часы Анастасия смиренно посвящала родителям: она готовила ужин, который по семейной традиции был главной трапезой дня: так установилось с тех времен, когда отец приходил с работы и в семь часов вся семья встречалась за столом. Блюд обычно было два: рыба и запеканка, ростбиф и суфле, иногда птица и что-нибудь фруктовое... Меню составляла Вера Александровна днём ранее. С середины восьмидесятых годов с продуктами опять начались сложности, но Николай Афанасьевич имел государственную поддержку в виде продуктового заказа, получаемого Александрой по пятницам в сороковом гастрономе. Раз в три дня приезжала из Подмоскovie совершенно фантастическая молочница – как привет из исторического прошлого. Ей заказывали иногда и огородные овощи.

Родители держали хорошую форму. Несмотря на диабет, суровые ограничения и ежедневные уколы, Вера Александровна, потерявшая наконец те лишние килограммы, о которых всю жизнь говорили ей врачи, хотя и жаловалась на слабость, но каждый день выходила на прогулку, читала книги и смотрела телевизор. Отпраздновали её девяностолетие.

Отец хуже переносил тяготы возраста, стал ещё более молчалив и только отвечал на вопросы жены, сам же ни о чем не спрашивал. Но в обществе жены по-прежнему нуждался: вечерами приходил в большую комнату и садился в кресло, на своё всегдашнее место. Дремал.

На девяносто пятом году жизни у Веры Александровны началась диабетическая гангрена. Дочери делали повязки со всеми известными мазями, травами и составами. Но чернота ползла вверх, и остановить её не удавалось. Наконец приехавший из ведомственной поликлиники хирург объявил, что единственный шанс выжить – ампутация ноги.

Мать отвезли в больницу. Анастасия срочно уволилась и переселилась в палату. Накануне операции вечером, после клизмы, обтирания, заменившего мытьё, и ночного поцелуя, Вера Александровна сказала просто, без обиняков:

– Простите меня, я от вас всю жизнь скрывала наше происхождение.

Борис Хазанов

Пардес

Я решаюсь изложить, по возможности кратко, то, что произошло на-днях, точнее, в одну из этих ночей. Должен ли я объяснять, почему выбран такой заголовок? Слово «пардес» означает сад, а также Путь познания. Опасный путь, на котором можно погибнуть, не дойдя до цели. Думаю, этого пояснения будет достаточно.

Как всегда, я лёг в половине двенадцатого, чтобы спустя полчаса окончательно убедиться, что не усну. Надо чем-то заняться, а не пичкать себя таблетками. Пришлось одеться, я вышел, оставив часы на ночном столике,

Чоран рассказывает, как он сражался с бессонницей: колесил ночами до изнеможения на велосипеде. Я шёл пешком. Я двигался как автомат, то, что со мной происходило, можно было принять за продолжение сна, но эта гипотеза не выдерживает критики. В полутьме я слышал стук своих шагов по асфальту. Ночью улицы кажутся незнакомыми. Я приближался к тёмной массе деревьев, это был Английский сад, известная достопримечательность нашего города, правильной было бы назвать его лесом. Стоит только сойти с главной аллеи, и тропинки, ветвясь и пропадая, и появляясь вновь, увлекут вас в шорох трав, мрак и шёпот деревьев. Он огромен, этот сад. Он похож на еврейский Пардес, о котором только что сказано; поздний час усугубил сходство. Я старался не слишком удаляться от аллеи, рассчитывал выйти где-нибудь возле Северного кладбища и вернуться домой ночным автобусом.

Небо заволокло, я больше не видел звёзд. Несколько времени погода холлод пробрал меня, оказалось, что я сижу, ловлю свои ускользающие мысли, боясь уснуть тут же на скамье. Чаша поредела, и показались огни. Я понял, что сбился с пути, но это меня не смущало. Ночь показалась мне короткой. Тусклое серебро рассвета покрыло булыжную мостовую. Один за другим гасли тлеющие фонари. Окна мёртвых домов блестели, как слюда. Здесь совсем не было машин; облупленные фасады, зияющие подворотни, тротуары, истосковавшиеся по ремонту, – я очутился на дальней окраине.

Всё же любопытно было узнать, что это за район. Как называется улица? Щитки с номерами домов, полукруглые под угловатыми фонариками, напомнили мне далёкие времена. Солнце блеснуло в просвете улицы, и я разобрал, наконец, надпись. Так и есть! Название переулка было начертано по-русски.

кто-то выскочит?..» – пролепетал я, понимая, что дело не в этом. Игра уже не имела никакого значения.

Она молчала. Мы стояли друг перед другом, она была чуть выше меня, тоненькая, в тёмно-оранжевом платье, которое удивительно шло к её смуглой коже, в носках и сандалиях. Чёрные глаза косили, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо. Мы переминались в растерянности, мы были одни, так никогда ещё не было.

Оглянувшись, я быстро сказал: «Пойдём со мной».

Она подняла брови.

«Бежим, пока никто не видит. Здесь недалеко... Феня, – продолжал я, – ведь я вернулся из-за тебя!»

По правде сказать, эта мысль пришла мне в голову только сейчас.

«Откуда это вернулся?» – сказала она надменно.

«Оттуда. Надо только пройти через сад. Там можно запутаться, пока дойдёшь до другого конца. Я знаю дорогу».

«Да ну тебя», – сказала Феня.

Мы топтались, не зная что сказать друг другу.

«Ну я пошла», – сказала она.

Со двора доносились голоса, видимо, там начали сызнова считаться, игра возобновилась.

«Поднимемся на минутку, а то ещё кто-нибудь прибежит прятаться». Я тащил Феню за собой наверх.

Она выдернула руку, остановилась и спросила: что такое Пардес?

Тут я вспомнил, что ничего ещё не знал в то время, – как же она могла спрашивать, если я не упоминал о Пардесе?

Всё же я ответил:

«Заколдованный сад. Там однажды три мужика решили прогуляться, три мудреца. Одного звали бен Сома, другого бен Абуя, а третьего... забыл, как его звали. Попросили Акибу...»

«Акибу?»

«Ну да, такое имя. Попросили пойти с ними, он знал дорогу. Надо было спешить, потому что сад закрывался после захода солнца. Он пошёл вперёд, а потом обернулся и видит: один мудрец сошёл с ума, другой вырвал кусты и посадил вверх корнями, а третий...»

Мы оба запыхались. Мы стояли на площадке последнего этажа.

«Что третий?»

«Умер».

«Никуда я не пойду. Иди сам».

«Да ведь это же сказка».

«Откуда ты это всё знаешь?» – спросила она.

«Я не знаю, это я потом прочту».

«Потом?»

«Когда вырасту», – сказал я и опять спохватился, что говорю что-то не то. Выглянул наружу, двор внизу был пуст, народ разошёлся по домам. «Побежали!» – я схватил её за руку. Но тут открылась дверь. Там была кухня. Все двери на лестнице чёрного хода вели в коммунальные кухни. Выглянула тётя Женя, в фартуке, с полотенцем в руках.

«Как тебе не стыдно? Все собрались, ждут. Гусь, наверное, уже перестоял».

«Кто ждёт?» – спросил я растерянно и вдруг вспомнил.

Тётя Женя наклонилась к плите, открыла дверцу духовки и вытянула чугунную латку, похожую на маленький саркофаг.

«Феня, – сказал я, – у меня день рождения, совсем забыл. Пойдём к нам. Мы ненадолго».

Мне показалось, что она что-то проговорила, у меня нет подарка, что-то в этом роде. Ерунда, возразил я, но её уже не было. Я наклонился над железными перилами и никого не увидел. Какая проворная, подумал я, какая лёгкая, быстрая, и, догнав в коридоре тётю Женю, распахнула перед ней дверь нашей комнаты.

«А вот и мы!» – громко сказала она. Саркофаг был водружён посреди праздничного стола. После смерти мамы, в дни моего рождения хозяйничала тётя Женя. Гости обменивались восклицаниями, потирали руки, в открытой латке загорелый оранжевый гусь лоснился и дышал жаром, кто-то уже приготовился подцепить его длинной двузубой вилкой. Мой отец стоял во главе стола с откупоренной бутылкой тёмного стекла. Гусь шлёпнулся на эмалированное блюдо. Тётя Женя накладывала на тарелки лакомые куски и потемневшие, размякшие половинки яблок. А в углу на столике, где обычно помещалась швейная машина, были разложены подарки: книжки, завёрнутые в цветную бумагу, перевязанная красной ленточкой коробка конфет «Новая Москва» и самое главное – похожий на волшебный сон набор деталей «Конструктор».

На мне был мой новый костюм, накрахмаленная рубашка, немного мешавшая поворачивать голову, свежевыглаженный красный пионерский галстук; я был радостно возбуждён и что-то лепетал в ответ на поздравления и пожелания. Стук ножей и вилок заглушил мои слова.

Потом явился пирог. Набрал полную грудь воздуха, напыжившись, я дунул изо всех сил. Огоньки одиннадцати тонких ёлочных свечей всколыхнулись, несколько свечек погасло. Гости аплодировали. Мой отец потушил остальные.

Я думал о Фене. За спиной у меня слышался смех, музыка – тётя Женя играла на пианино. В коридоре было тускло и скучно. Я раздумывал, не вернуться ли,

меня смущала двусмысленность этого слова: вернуться. Между тем я уже стоял на лестничной площадке, оглянувшись – моё бегство, по-видимому, осталось незамеченным – и уже спокойно, уверенный, что найду Феню, пересёк наш двор, раздвинул створы ворот и выглянул в переулочек. Я здесь, тихо произнёс её голос. Она стояла за моей спиной.

«Что же ты не пришла?»

Она молчала.

«Был пирог, – сказал я. – С вареньем, пальчики оближешь».

«Я не люблю с вареньем».

«А с чем?»

«С мясом. И вообще».

«Что вообще?»

«И вообще мне нельзя к вам ходить. Мне мама не велела».

«Почему?»

«Ты еврей, – сказала она. – А моя мама татарка. И я тоже татарка».

«Ну и что?»

«Евреи не любят татар. Никто не любит татар».

«Наоборот, – сказал я. – Это евреев никто не любит».

Надо было спешить, медленно умирал летний день. «А то закроют». Мы прошли весь переулочек, свернули в другой, теперь мне всё было знакомо. Наконец, город кончился. Впереди в лучах заката манил, темнел, зеленел Сад.

«Вспомнил, – сказал я, – как звали третьего. Бен Асай. А вёл их бен Акиба».

«Они все были евреи?»

«Да. Все были евреи».

«Расскажи, – попросила Феня, – про этого Акибу».

«Это был великий мудрец. Он прошёл через Пардес, и ничего с ним не случилось».

«Я боюсь».

«Дурочка. Это же сказка. Легенда!»

Мы шли по широкой аллее, не шли, а шествовали, и как я был горд, какое счастье шагать вдвоём, держась за руки, навстречу птичьему гомону! Закатный свет исполосовал дорогу. Я крепко держал Феню, воображал себя рабби Акибой и знал, что с нами ничего не случится. Навстречу шли двое, ночной обход – оба, мужчина и женщина в зелёных мундирах баварской полиции. Немного погодя мы сошли с дороги, извилистая тропа вела нас через поляны, сквозь кустарники. Небо уже пылало серебряным огнём, и я разглядел в высоте белёсый серп.

«Далеко ещё?»

Мы присели на скамью. Ночь накрыла нас с головой.

«Немного передохнёшь, – сказал я, – а я тут погляжу, где пройти покороче. –

Я сейчас!» – крикнул я, и в самом деле, дорога, по которой я направлялся вчера в город моего детства, была совсем рядом. Я вернулся к Фене.

Но что-то случилось, и я почувствовал, что никогда больше её не увижу. Она погибла там, в этой чаще. Не каждому дано пройти через Сад. Нет больше скамейки, нет никого, я пробовал кричать, звать и ни до кого не докричался. Открыв ключом дверь моей квартиры, я увидел неубранную постель, часы на ночном столике. Полчаса прошло с тех пор, как я вышел. Я лёг и заснул мёртвым сном, от которого лучше бы не просыпаться.



Борис Хазанов (псевдоним Г.М. Файбусовича) – прозаик, эссеист, переводчик философской литературы. Член ПЕН-клуба и Баварского союза журналистов. Родился в 1928 году в Санкт-Петербурге, вырос в Москве. Учился на классическом отделении филологического факультета МГУ. На пятом курсе был арестован по обвинению в антисоветской агитации, после освобождения окончил Калининский медицинский институт. Кандидат медицинских наук. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Один из

соучредителей и издателей русского журнала «Страна и мир» (Мюнхен, 1984 – 1992). Автор книг прозы и эссеистики, в том числе – романов «Антивремя», «Нагльфар в океане времён», «После нас потоп», «Далёкое зрелище лесов», «Вчерашняя вечность» и многочисленных журнальных публикаций. Его произведения переведены на многие европейские языки. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе – «Русской премии» 2009 года. Живёт в Мюнхене.



Михаил Яснoв

Из «Проклятых Поэтов»

Перевод с французского

Шарль Кро (1842-1888)

Зеленый час

Бьёт пять. Рассудку бы вздремнуть,
Разнежиться в тени от тента ...
Но всем желудкам просто жуть,
Ну, жуть как хочется абсента!

С ним что ни краска – изумруд,
И, от паров его шалея,
Раздуют ноздри – и замрут
Нюх отточившие Цирцеи.

Сверкнут глазком – о, эти пять
Часов! – и каждая колдует:
Таким бывалым как не знать,
Откуда нынче ветер дует?

И вот они уже бегут
Навстречу столику и стойке ...
Горит Венера – тут как тут! –
В зеленом небе, как в настойке.

Поль Верлен (1844-1896)

Изнеможение

Жоржу Куртелину

Я чувствую себя Империей на грани
Упадка, в ожиданьи варварской орды,
Когда акростихи, как дряблые плоды
Изнеможения, слагаются в дурмане.

Стоит, справляя торжество, –
Стоит, построив баррикады
Из павших в битве за него!

Жермен Нуво (1851-1920)

Хуторянка

В юбочке шерстяной, в косынке до бровей,
Розовощёкая, горячая, живая,
Сверкая икрами и бедрами качая,
Она идёт себе – гляди и не робей!

Однако даст отпор, коль что-то не по ней,
Не пожалев пинков и слов не выбирая.
Спешит на сеновал, чтоб ублажить бугая,
Сошедшего с ума от лакомых грудей.

Но вечером иной становится красotka
И, ангел во плоти, приходит к детям, кротко
Уснувшим на гумне, и крестит их в ночи,

Целуя каждого, пока сама в истоме
Не забывается, и свет её свечи
Святые звёзды рассыпает по соломе.

Артур Рембо (1854-1891)

Украденное сердце

Рвёт кровью сердце, словно в качку,
Рвёт кровью молодость моя:
Здесь бьют за жвачку и за жрачку,
Рвёт кровью сердце, словно в качку,
В ответ на вздрючку и подначку,
На зубоскальство солдатя.
Рвёт кровью сердце, словно в качку,
Рвёт кровью молодость моя!

Срамной, казарменный, солдатский,
Их гогот пьян, а говор прян.
Здесь правит судном фаллос адский,

Срамной, казарменный, солдатский.
Волною абракадабратской
Омой мне сердце, океан!
Срамной, казарменный, солдатский,
Их гогот пьян, а говор прян!

Сжевав табак, не за тебя ли,
О сердце, примутся они?
Рыгая, примутся в финале
Сжевав табак, не за тебя ли?
Меня тошнит; тебя украли –
Как ни лелей и ни храни.
Сжевав табак, не за тебя ли,
О сердце, примутся они?

Жюль Лафорг (1860-1887)

Расчёты с осенью

Вот пейзаж, измученный туберкулёзом:
Лёд, как кляп в горловине, сдавленной шляузом,
Это ветер, саднящий лицо морозом,
Это солнце с алым порезом
 Как под наркозом.
Это ветер, смешавший бемоль с дизезом,
То рубцующий сердце тихим рассказом,
То дающий волю глухим неврозам, –
 Он готов притвориться бризом,
 Прокрасться лазом.

Не оплакать ли небо в уборе сизом,
Сено, сухость свою отдавшее грозам,
И бельё на верёвке под старым вязом?
 Звук волынки, подобный грёзам,
 Стихает разом.

Дань отдав проказам своим, капризам,
Кот следит за луною бывалым глазом,
А тоска овекает меня гипнозом,
 Я и сам становлюсь эскизом,
 Летучим газом.



И взамен отказам
Былым, обузам,
Предаюсь репризам –
Слезам и музам ...



Михаил Яснов – поэт, переводчик, детский писатель. Член ПЕН-клуба, член Совета Союза писателей Санкт-Петербурга. Родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил филфак Ленинградского университета. Автор шести книг лирики, свыше тридцати книг стихотворений и прозы для детей и переводов с французского (Гийома Аполлинера, Жака Превра, Поля Верлена, Поля Валери, Жана Кокто, Эжена Ионеско и др.)

Лауреат Почётного диплома Международного Совета по детской и юношеской книге, литературной премии им. Мориса Ваксмахера, которую вручает Французское правительство и посольство Франции в Москве за лучший перевод французской художественной литературы, и др. премий. Оригинальные стихи переводились на ряд европейских языков. Живёт в Санкт-Петербурге.





◇◇◇◇◇1



◇◇◇◇◇2

1 Дом на Бизенталер штрассе, где проходят салоны

2 На Всемирном конгрессе ПЕН-клуба в Берлине. А.Битов, А.Перчёнок-Фадина, В.Фадин, А.Ткаченко, В.Ерофеев, С.Золвкин. Фото Э.Чазовой





1



2



3

1 Даниил Чконя

2 Борис Замятин, Дмитрий Хмельницкий

3 Иосиф Малкиель, Сергей Юризицкий





4



5



6

4 Вадим Фадин, Виктор Ерофеев

5 Татьяна Тихонова

6 Борис Шапиро





1



3

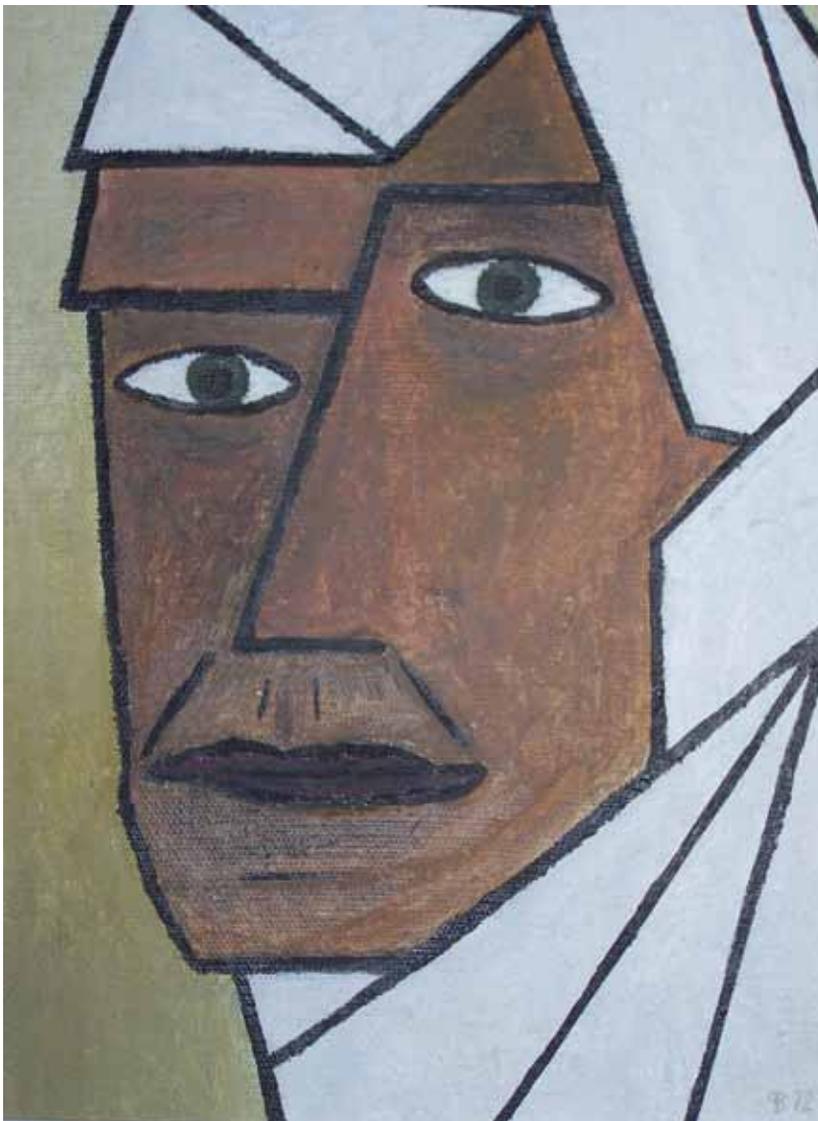


2



4





3

1 Генрих Киршбаум

2 Вера Павлова

3 Елена Тихомирова-Мадден

4 Юбилей хозяйки салона

5 Вадим Фадин. Автопортрет. 1972 год





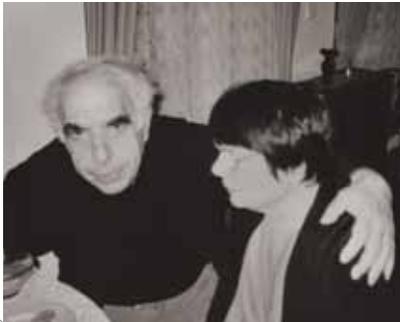
1



2



3



4



5





- 1 Андрей Битов
 - 2 Сергей Бирюков
 - 3 Вадим Перельмутер
 - 4 Евгений Рейн, Анна Перчёнок-Фадина
 - 5 Борис Хазанов
 - 6 Рисунок Александра Ткаченко
- из альбома салона





1



2



3

1 Людмила Скворчевская

2 Вольфганг Шлотт

3 С правой стороны от окна: Михаил Яснов, Анна Хадрисевич, Сергей Гладких, Сергей Юризицкий





4



5



6



7

4 Вячеслав Куприянов

5 Александр Мелихов

6 Андрей Кучаев

7 Демьян Фаншель, Вадим Месяц



Душевно это воплощенная Печаль мира,
власть - это воплощенная Трусость мира,
Поэтому мы
они вырабатывают
Котикские выживания
Матео Вига
Абитов

1



2



3

1 Автограф А.Битова из альбома салона

2 Людмила Улицкая

3 Светлана Василенко, Вадим Фадин

4 Александр Лайко

5 Урсула Усаковска-Вольф

6 Читает Александр Люсый





4



5



6





1



2



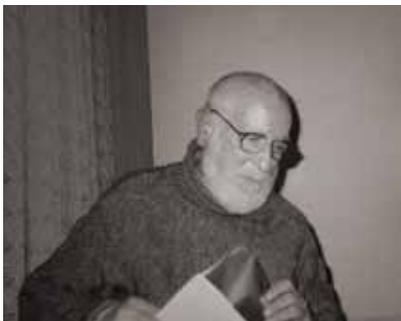
3

1 Татьяна Зажицкая, Дмитрий Драгилёв, Татьяна Нелюбина, Анна Перчёнок-Фадина, Михаил Яснов

2 Наталья Генина

3 Анна Альчук

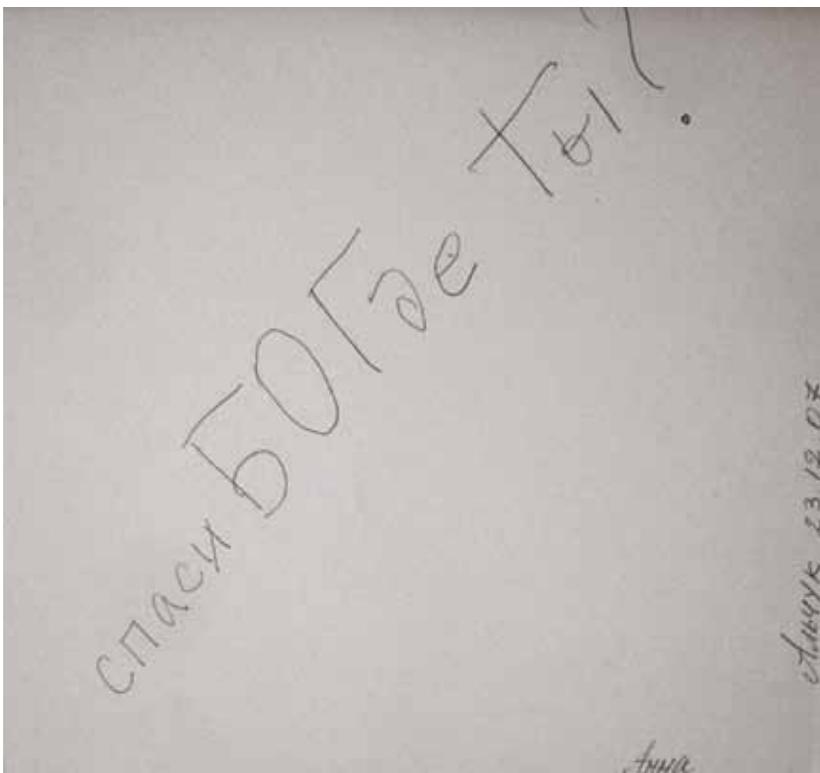




4



5



6

4 Борис Рохлин

5 Александр Воронель

6 Автограф Анны Альчук из альбома салона





1, 2 Работы Марины Герцовской из цикла
«Женщины и самолёты», 1996-1997
3 Читает Владимир Кантор
4 Лариса Шульман, Виктор Николаев,
Марина Герцовская
5 Лариса Володимерова, Борис Шапиро
6 Читает Александр Ткаченко

3



4



5



6





- 01 Ильза Чертнер, Нина Воронель
- 02 Марина Гершенович
- 03 Юрий Ряшенцев
- 04 Виктория Юризицкая, Ирина Омельченко, справа – Татьяна Зажицкая

1



2



3



4





*Участники Пушкинских
поэтических фестивалей:
гости из Германии
и России*

Сергей Бирюков

Стихи о Пушкине, обнаруженные по просьбе Игоря Лоцилова

1.

Пушкин выходит
Пушкин входит
Анна Зернова
ждёт Пушкина
она сдувает пушинки с платья
она ложится на подушки
и корсет распускает
Пушкин входит
Пушкин выходит
Анна Зернова
созерцает
окружающий мир
она понимает умом
что это чудное мгновенье
Пушкин вх
Пушкин вых
вых-вых-вых-вых
хв-вых-хв-вых-хв
хыв-вх-хыв-вх
так продолжается литература –
это аббревиатура

2.

где-то Пушкин
светлый гость
где-то Пушкин
в горле кость
где-то Пушкин
в теле грусть

между
в промежутке
в синонимическом ряду
между прочим (!)
когда ты закрепляешь слово
на балконе проволокой
и всё продумано до мелочей
ты думаешь о том
что оно оторвётся и улетит
туда где злые колючие
острорежущие
легковоспламеняющиеся
что с ним будет
что с ним будет
о что с ним будет



Бирюков Сергей – поэт, кандидат филологических наук, доктор культурологии, основатель и президент Академии Зауми, преподаёт в университете в Халле. Член ПЕН-клуба и Союза российских писателей. Родился в 1950 году в Тамбовской области. Окончил филфак Тамбовского пединститута. Автор многих книг, в том числе: «Муза зауми», «Зевгма», «Знак бесконечности», «Поэзия русского авангарда», «Року укор», «Ja ja, Da da...», «Звучарь», «Авангард: модули и векторы», «Sphinx», «Встречи

на авеню Айги», «Poesis Поэзис Poesis». Теоретик и практик литературного авангарда. Организатор и участник множества международных и российских конференций и фестивалей авангардной поэзии. Стихи переводились на основные европейские, некоторые славянские, а также на турецкий, китайский и японский языки. Лауреат ряда международных литературных конкурсов и литературной премии им. А.Кручёных. Живёт в Халле (Германия).



Евгений Бунимович

* * *

Ю. Арабову

сутулые фонари отбрасывают длинные тени
перечёркивая хайтек автотрасс
оглядываясь назад
оказываемся не теми
за кого принимали себя
да и другие нас

вроде бы не боялись
не верили
не просили
мастырили как умели
ампир во время чумы
ночью все кошки серы
все города красивы
все странники оцифрованы
все смыслы обречены

ночью пространство скукожено
как догорает бумага
покуда мы здесь обозначены точками А и В
сумма углов треугольника
с вершиной в окрестности Бога
больше равна судьбе

* * *

женщина в самолёте закричала истошно
проснулся от крика

теракт мелькнуло
кто за кого какого
господи да не всё ли

по-русски говорю по-русски
как дела
отвечаю
хреново

* * *

страна была нерушима
постель в вагоне стоила рубль
если не брать
проводник смотрел косо
соседи смотрели косо
страна смотрела косо
лучше взять
простыня всегда была сырая серая
но всегда была

матрас доставали откуда-то сверху
разворачивали на полке
подушка всегда падала на пол
сизая в перьях
но постель всегда стоила рубль
и везде стоила рубль
и страна была нерушима

Евгений Бунимович – поэт, эссеист, публицист. Член исполкома Русского ПЕН-центра, Союза журналистов, секретарь Союза писателей Москвы.
Родился в 1954 году в Москве. Окончил мехмат МГУ.
Первая книга стихов вышла в Париже в 1989, за ней последовали сборники в России.
Автор девяти книг стихов, трёх книг статей и эссе. Подготовил и выпустил антологию современной русской поэзии в Бельгии, Франции, Канаде, США. Стихи изданы также

на английском, французском, немецком, греческом, польском, румынском, голландском, китайском, арабском, узбекском и других языках. В марте 2010 года стихами Евгения Бунимовича на четырех языках была вымощена полукилометровая набережная центрального канала в Брюсселе.
Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премии Союза журналистов России и др., кавалер французского ордена Академических пальмовых ветвей.
Живёт в Москве.

Марина Гершенович

* * *

В объятиях седеющей равнины,
Где год прожив, стареешь за двоих,
Ни дерева, ни мрамора, ни глины,
Ты не найдёшь для идолов своих.

В окошко глядя, как в пустое око
Зимы бесснежной, где-то в январе,
Смиришься с тем, что взгляд твой одиноко
Завис на одиноком фонаре.

От созерцанья этого предмета,
Когда ничем не хочешь дорожить,
сойдётся с ума, приняв источник света
за новую звезду, и будешь жить.

Fuer Alexander

Если кто и уедет отсюда,
это будем не мы.
Потому от зимы,
уповая на чудо,

не уйти за апрелем и маем,
пролагая пути.
От себя не уйти.
Это мы понимаем.

Мы останемся в снежных хоромах,
с потолком изо льда,
где весной вода –
это зодчего промах.



Марина Гершенович – поэт, переводчик, автор-исполнитель. Родилась в Новосибирске. Песни пишет с 1978 года. Выступает с вечерами поэзии и авторской песни в различных частях света, публикует свои стихи, переводы и эссе в периодике. Автор трёх книг стихов и книги переводов: «Маша Калеко.

Жизнь и стихи». Обладательница «Золотой короны», главного приза международного поэтического конкурса «Пушкин в Британии», лауреат Грушинского фестиваля. Живёт в Дюссельдорфе (Германия).



Генрих Киршбаум

Засуха

Сух стрёкот лета,
косят лучи;
даже осока – цвета
сена и саранчи.

Стебли истлели
в собственном теле –
зной перегрыз хрящи.

Соломой в пыли,
жухнувшей дерновиной
стелятся длинные ковыли.

Словно разграбленная могила –
русло бывшей реки:
в камни и черепки
всохли костлявые комья ила.

Красные рыбы

Нутром
по горбатым протокам,
рекам,
рывками о камни,
плоскими плавниками
о козкую гальку отмелей,
прыгая,
огибая глыбы,
бурлят серебром
на ребрах порогов
красные рыбы.

Вера Павлова

* * *

Всё, что было летом,
снящимся весне,
что на свете этом
светом было мне,
всё, что будет сниться
мне на свете том,
может уместиться
под одним зонтом.

* * *

Может, стишок – шажок
по направленью к Свану,
может, стишок – стежок
девочки, шьющей саван,
может, стишок – флажок,
мол, планета открыта,
а может, слуховой рожок
доктора Айболита.

* * *

Ничьи зубные щётки,
ключи не от чего...
Мучительно нечётки
черты минувшего.
Как жалко, что не жалко,
что прошлое пройдёт!
Пальто давно на свалке,
а пуговица – вот.

* * *

Рождаюсь. Значит, умерла.
Как и когда, убей, не помню.



Вера Павлова – поэт, музыкант. Член ПЕН-клуба.

Родилась в Москве в 1963 году. Окончила музыкальный колледж им. Шнитке и Академию музыки им. Гнесиных. 10 лет пела в церковном хоре.

Стихи начала писать в возрасте двадцати лет, в роддоме, после рождения первой дочери, печататься – после рождения второй. Первая подборка была опубликована в журнале «Юность», известность пришла с появлением в газете «Сегодня» разворота из

семидесяти двух стихотворений, породившего миф, что Вера Павлова – литературная мистификация. Автор четырнадцати книг стихов, вышедших в России, и многочисленных публикаций в литературных журналах России, Европы и Америки. Переведена на девятнадцать языков.

Лауреат премий имени Аполлона Григорьева, «Антология» и специальной премии «Московский счёт».

Живёт в Москве и Нью-Йорке.



Вадим Перельмутер

Вниз головой

Желание остановить мгновенье
И вбить между собой и миром клинья
Давным-давно не посещает нас.

Прекрасное должно быть беспредметно –
И вместе с тем нисколько не бесплотное,
И снизу вверх – не так, как сверху вниз.

Кружится шмель. Чирикает синица.
И светит солнце. И цветы цветут.
Всего разумней – ни за что не братья,
Когда непредсказуем результат.

Устроиться в тени. Воды напиться.
И, может быть, заснуть, как входят в сад;
Нам только знать бы глубину колодца,
Но камешек летит, летит, летит...

Post Scriptum

Меж двух миров –
погибшим и воскресшим...

Джон Мильтон

Неровен случай – забрести
В судьбы кромешный лес,
Где на Пицунду льют дожди
С простреленных небес,
Где тянутся день ото дня
Напрасные труды –
Размыть следы всего огня
Путём вся вода,
Где туго стягивает всех



Вадим Перельмутер – поэт, эссеист, историк литературы. Родился в Москве. Окончил Литературный институт им. Горького. Первая публикация – 1966 г. Первая книга (Дневник. Книга стихов.) – 1985 г. Всего – пока – 5 стихотворных книг и 2 прозаических. Как

результат историко-литературных занятий и работы в архивах – подготовил и выпустил более трёх десятков книг разнообразных поэтов и прозаиков. Более сотни публикаций в периодике, не только российской. С 1997 г. живёт в Мюнхене.



Демьян Фаншель

Кентавр

Отведать мерку злого зелья–
Веселья ради, а не хмеля.
Плечами передёрнуть: «Уф-ф!»
И, ноздри широко раздув,

Занюхать коркою ржаного.
Подначить девок, всласть заржать...
Живи легко, гуляй, душа!
И не желай себе иного, –

Того, срамного, вороного:
Там забываются, визжат!
Там – не разлей, не разорви.
Там – взгляда дикость. Там в крови–
Ток тёмно-красного, дурного;
Там – муха ли, под хвост вожака, –
Развейся, пропади всё прахом! –
Наскучив мощным мерным махом, –
Отмашкой плётки семихвостной
Себя и круп огреть со злости –
Так просто всё – рубай – коли! –
Как хруп овсом в сухой лохани,
Как пар тяжёлого дыханья, –
Через кусты ломи – вали! –
Как вкусный конский запах пота.
Как дивная копыт работа.
Как комья тёмные земли...

Львов

И не заметишь, как с площади снова
Улицы брызнут – без мыла – в проулки.

политы. А ты, в кузов пуза еды и воды уложивший,
А ты, – колобком, с ветерком, на своём лисапеге,
До белых волос на груди, до любовниц под сорок доживший,
Всё не забывающий о предстоящем обеде,

А ты, кому книги одни подавай, житель библиотеки,
А ты, кто разрядником впрыгивал в ринг лет тому двадцать восемь,
Кто через два раунда боя, фингалы и кровоподтёки,
В нокаут укладывал точно таких вот, таких же – коньки лишь отбросим,

А ты всё быстрее – вдоль электроопор, в тишине напряжённо жужжащей,
Вдоль мёртвой воды, вдоль асфальта чужого, озёр, конькобежцев согбенных,
Летающей сквозь сон, однорукой, упорно молчащей
Когорты. А ты, начинающий соображать постепенно,

Что эта, – дыханья уже не хватает, – твоя, за стеклом духоты,
Что жизнь параллельная эта – под током. По краю предгрозя!
Что ветер внезапен как подлый сквозняк. Что кусты, камышины, колосья –
Врасплох! Начинает сгущаться, темнеть начинает, а ты

Среди – над асфальтом – скользящих, как в съёмке замедленной, мчишь:
Восьмёрку отметь колеса (вот-вот перевернёмся),
Что шёпотом песню – такую... – в обратном порядке – мычишь
(Там было ещё, что мол, вроде, обратно вернёмся)...

В воде обнажённой деревьев и едущих ног – чередой – отраженья
И согнутых спин. Там, внизу – мы попробуем – там уже осень.
Где всё продолжается – понял? – всё не прекратится движенье
На той, на другой, на твоей стороне перекрученной «8».

Сновидец

В смятенье постели врываешься, во сне цепеняя,
Туда, где лишь гулко
(Цепляясь за явь, где несчастнее был и умнее) –
Шаги. Переулки.

И только лишь чудо, поскольку немножечко – юдо,
Лишь чувство утраты
Строки не записанной – чудом – спасает – выводит отсюда.
Проснёшься: цитата

Без автора. Автор – плетёт сонным речитативом
На эту основу –
Другую. Седьмую. Последнюю. Текст, своё диво.
Любимый свой. Новый.

Демьян Фаншель о себе: родился в 1955 г., у
самого чёрного моря, жил – у самого белого,
а в промежутках – между и слева по карте.
Места обитания: Львов, Архангельск, Во-
логда, Великий Устюг, гарнизоны, гарнизоны,
опять Львов, Кёльн. По профессии – врач
(т.е. способность к вранью подтверждена
дипломом). Печатался в журналах «Кре-

щатик», «Дикое поле», «Родная речь»,
«Пилигрим», «Век XXI», «Литератур»,
антологиях «Киевская Русь» и др. Изданы 3
книги: «Текст», «Обучение сну» (обе – по-
эзия, эссеистика), «Мейл» (книга переписки,
поэзия).
Живу в Кёльне.



Даниил Чкония

* * *

Я согласен назвать ностальгией
Бесконечно тягучие сны.
Вижу лица, но лица – другие.
И другие приметы весны.

Подступающий миг пробужденья
Не пугает реальностью дня.
Но сменить бы мне дату рожденья,
Раз уж адрес иной у меня!

И, посмертные слепки снимая,
Счёт ушедшим мгновеньям веду.
Я сегодня, что лошадь хромая,
Сбился с шага и сплю на ходу.

Не задворки, зады, перекопы,
Не обмылки в гремящих тазах...
Я стою посредине Европы
С азиатской тоскою в глазах.

* * *

Ничего, ничего, потоскую!
Век не вечен, и я как-нибудь
Довекую его, докукую,
Наберу ещё воздуху в грудь.
Этот воздух не солью на раны,
Мол, глядишь на чужой каравай.
Всё равно, как воришка карманный,
Залезаешь в галдящий трамвай.
Здесь ни слякоти нет, ни мороза,
Ни равнины, сводящей с ума,

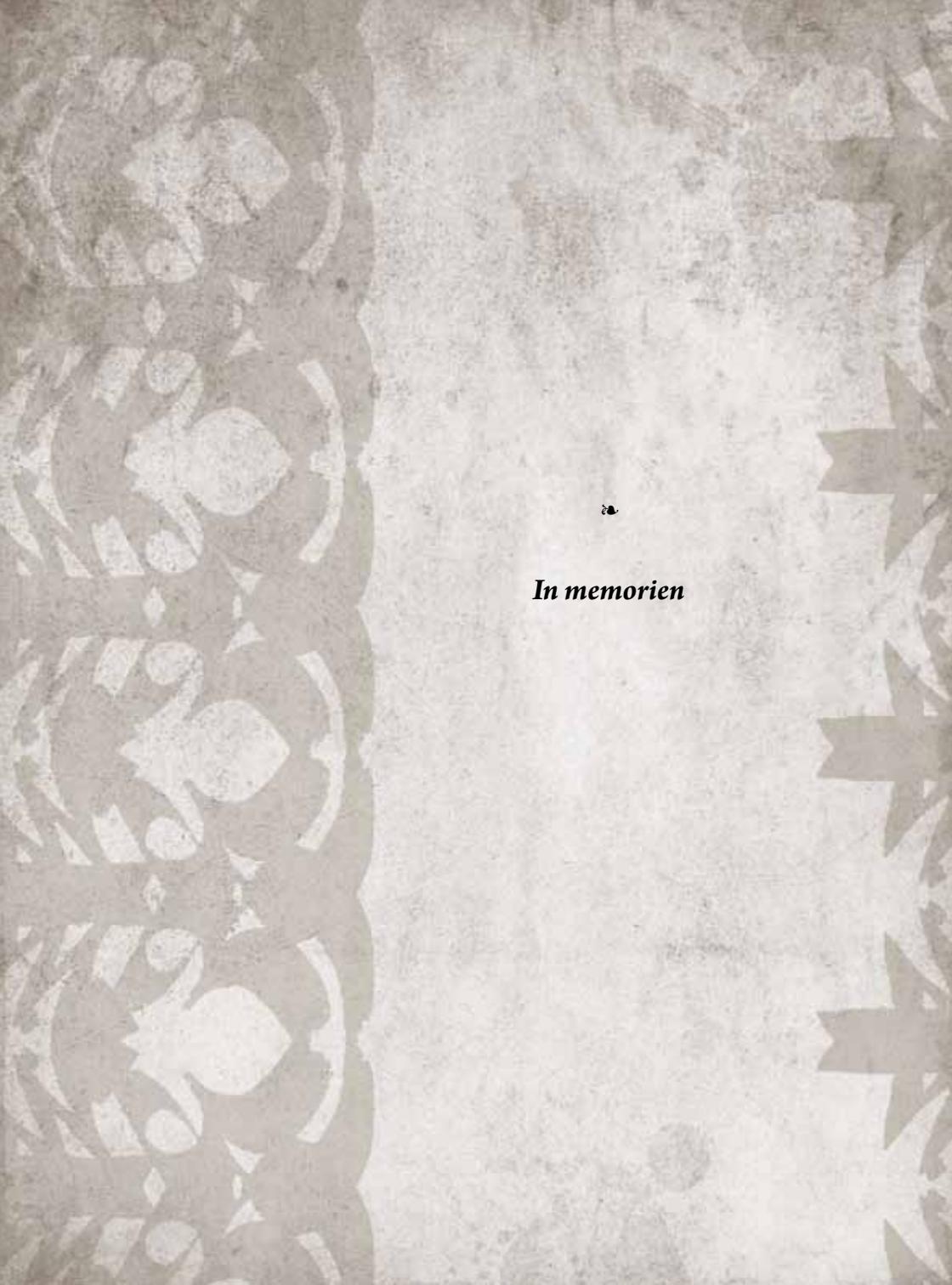
О добре ведутся споры,
И про зло талдычат свары...
Кто придёт на зов Никоры?
Кто услышит зов Цикары?

Ветка к ветке, камень к камню –
Свить гнездо, сложить дорогу...
Протянись твоя рука мне –
Сразу чувствую подмогу!

И по-русски: скоро-скоро!
По-грузински: чкара-чкара!
Чок да чок – бычок Никора...
Чок да чок – бычок Цикара...

Даниил Чкония – поэт, переводчик с грузинского, критик. Член ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы
Родился в 1946 году в Порт-Артуре. Окончил Литературный институт.
Много лет проработал старшим редактором литконсультации СП и редакции поэзии народов СССР издательства «Советский писатель», главный редактор журнала «Зарубежные записки».

Автор восьми книг стихов, в том числе «Звук осторожный», «Подводный камень», «Слободка. Мариуполь», «Чужие города», «Элайя», книги избранных стихотворений «Я стою посредине Европы». В последние годы постоянно публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Зарубежные записки».
С 1996 года живёт в Кельне



20

In memorien

Анна Альчук (Михальчук)
1955 - 2008

Алмазный След

До и прежде всех воспоминаний вспоминается смех Ани. Заразительный, чистый, сверкающий. Само её имя, так идущее ей. Она в своём имени – Анна, Аня. Её голос, манера говорения, голосоведения, значимые остановки, прерывания. Дар дружбы, дарение друзей друзьям.

По слову проводила как будто кончиками пальцев, словно по струнам, так, что отзывалось пространство лёгким гулом времени.

Стихи Анны – отпечаток её внутренней жизни, индивидуальны до степени индивидуальности радужки глаза, рисунка на подушечках пальцев.

В её стихах мы обнаруживаем сигналы, указывающие на значения, оставляющие резкий чувственный след, как будто алмазом по стеклу. Ведь стекло очень точно отрезается даже не от единой линии стеклореза, а от нескольких штрихов, но уверенно нанесённых. Здесь это тоже сделано уверенной рукой.

Сергей Бирюков

* * *

Узнавания

Чистый звук

Из лу(ча емый) ...

Тело

Едва

Лиминуя

Б знак обращает в твёрдый

* * *

крепость каменных швов

эхо бази

лик

Мадонны из ниши

Нищез

бродил здесь

Турин ли Воль

терра



Анна Альчук – поэт, литературный и художественный критик, эссеист. Член ПЕН-клуба, Союза журналистов, Международной Академии Зауми.

Родилась на Сахалине. Окончила истфак Московского университета.

Издавала самиздатские журналы «Парадигма» (совместно с Глебом Цвелем) и «МДП» Автор сборников стихов «Двенадцать ритмических пауз», «Сов семь (Стихи 1986 – 1989)», «Движение», «не БУ (Стихи

2000 – 2004)» и многочисленных журнальных публикаций в России и за рубежом.

Последняя книга «Противостоять на своём» представляет собой сборник интервью с известными философами, художниками, музыкантами. Занималась также визуальной поэзией, перформансом. Участвовала во многих российских и международных конференциях, фестивалях и выставках.

Жила в Москве, Берлине.



Марина Герцовская

1953 - 2009

Ню за колючей проволокой

Её детство прошло в Ленинграде, в том же доме, где жил Иосиф Бродский. Она прекрасно помнила, как играла с ним во дворе. Веселый рыжий и большой хулиган. Марина, хоть и потомок основателя хасидской религии раби Шнеерсона, была тоже ослепительно рыжая хулиганка. Водилась в основном с мальчиками, вся в синяках, ссадинах и шишках. Так и закрепились в её сознании трогательно детские отношения, где дружба всегда сильнее любой любви.

Она дружила со всем миром. И с Оберманекенами из театра А. Васильева, и с нами, ДООСами, и со знаменитой двадцаткой на Малой Грузинской, и со всеми художниками-прикольщиками от Москвы до самых до окраин. К религии относилась с большим подозрением, не вникая в тонкости. А когда вникла, то сказала мне: «Безобразие!».

– Что безобразие?

– Бог один, а религий множество, да ещё и враждуют.

Ещё только занималась заря перестройки, как задумала она первую в СССР эротическую выставку на Каширке. Кажется, та называлась «Ню за колючей проволокой». Вместе придумывали название. Одновременно ДООС выпустил самиздатный сборник «Лонолет». Ни я, ни Марина не понимали, что значит порнография. «Нет никакой порнографии. Есть эротика или удачная, или пошлая и бездарная», – говорила Герцо (это её артистический псевдоним).

После Каширки была ещё одна выставка в театре А.Васильева с участием Оберманекенов. Они пели про нервный мех и вынесли обнажённую Машу Персик, облепленную тортом. Праздник был что надо. А потом открылись ночные клубы, и эротика перестала быть символом свободы.

Но Герцовская не растерялась. Она раньше всех поняла, что свобода перемещается в интернет, и стала осваивать компьютер. Первые программы были настолько несовершенны, что любая дизайнерская деятельность с компьютером выглядела как подвиг. События начала 90-х действовали на Марину ошеломляюще. Она приняла окончательное решение уезжать. «Я поняла, что и через пятьдесят лет тут будут голосовать за какого-нибудь зюганова».

Без Герцо в Москве стало намного скучнее. Отъезду предшествовала тяжёлая операция. Только в Берлине через несколько лет выяснилось, что опухоль дала метастазы. Началась многолетняя тяжелейшая борьба за каждый день, а потом

и за каждый час жизни. А работы Марины становились всё более свободными и совершенными. В воздухе парили нагие и полунагие тела, образуя причудливые иероглифы. Накладывались друг на друга разные планы изображения на прозрачных плёнках. Герцо сначала нырнула в компьютер, как в некую преобразующую купель, а затем вынырнула из него, проецируясь в панорамы и стенды великолепных выставок. В последнее время она могла работать не более двух-трёх часов в день, но работала в полную мощь. Инсталляции Марины Герцовой свежи и незабываемы. В эпоху постмодернизма она осталась верна чисто возрожденческой влюблённости в человеческое тело, окрылённое эросом.

Если бы Герцовская уехала не в Германию, а куда-нибудь на луну, к нам бы и оттуда, как с фресок Микеланджело летели бы обнажённые и полуобнажённые парящие в невесомости загадочные двуногие существа по имени люди. И среди этих свободно парящих будет всегда Марина Герцо. Она была душой и телом нашего ДООСа – Добровольного Общества Охраны Стрекоз, называла себя Доосочкой. Осы у древних греков были символом мудрости. Они жалили и не давали уснуть разуму и душе.

Марина не могла жить в полусне и вполсилы, как это принято в нашем российском быту. Она полностью выкладывалась и в фигурном катании на заре туманной юности. И в живописи. Когда пыталась достичь на громадных полотнах перламутрового слияния тела с воздухом. И в компьютерной графике, где одна из первых догадалась, что открываются новые, ничем не ограниченные возможности для игры с перспективой, которые снились ещё художникам Возрождения.

Она присутствовала в качестве болельщика на защите моей докторской диссертации в Институте Философии РАН в 1995 г. Но и задолго до этого, в конце 80-х, Герцо много раз участвовала в выступлениях ДООСа, – и всегда я видел, как одобрительно она кивала, когда слушала манифест метаметафоры «Компьютер Любви». Особенно нравились ей строки:

Прикосновение – это граница поцелуя

Поцелуй – это безграничность прикосновения

Женщина – это нутро неба

Мужчина – это небо нутра

Человек – это изнанка неба

Небо – это изнанка человека

Этот мотив вы найдёте и увидите во многих её картинах и инсталляциях. Она одна из первых оценила и полюбила работы основоположника мистического сюрреализма, моего двоюродного деда Павла Челищева, который уже в конце

считал знание предмета. Ну, здесь можно и не согласиться. О человеке, по сути дела, пока что ничего неизвестно. И мы себя не знаем – и о нас ничего не знают. Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Искусствоведы пишут о прошлом искусстве. Марина Герцовская не в прошлом и не в будущем. Она здесь и сейчас. Она с нами. Может, в этом и есть главная ценность её художественного наследия.

Константин Кедров

Марина Герцовская – художник, график, дизайнер, признанный мастер перформанса. Член Международной федерации художников (IFA). Родилась в 1953 году в Ленинграде. Окончила Высшее художественно-промышленное училище им. Мухомовой. Её персональные выставки проходили в музеях Москвы, Новосибирска, Калининграда, Мюнхена и Берлина, она также участвовала

во множестве групповых выставок в России и за рубежом. Работы Марины Герцовской хранятся в коллекциях Русского музея, Государственного музея современного искусства в Калининграде, Пушкинского музея, Новосибирского государственного художественного музея, а также во многих музеях и галереях Германии, Франции, Швеции, США и других стран. С 2002 года жила и работала в Берлине.

Константин Кедров – поэт, литературный критик, доктор философских наук, автор термина «метаметафора». Член исполкома Русского ПЕН-центра, член Союза писателей Москвы. Родился в 1942 году в г. Рыбинске Ярославской области. Окончил Казанский университет. Преподавал в Литинституте,

много лет был литкорреспондентом газеты «Известия». Автор множества книг и журнальных публикаций. Лауреат премии А.С. Грибоедова и других премий. Живёт в Москве.

Андрей Кучаев

1939 - 2009

Одинокое явление

Когда от нас в мир иной уходит большой писатель, совсем недавно полный творческих замыслов, когда этот писатель ещё и ваш близкий друг, потеря, действительно, невозможна. Об Андрее Кучаеве, скончавшемся в Мюльхайме 27 мая 2009 года, написано уже много комплиментарных, порой восторженных статей и будет, наверное, написано ещё больше. Вот как отозвалась о его последних романах «Литературная газета», в которой он делал свои первые шаги к будущему успеху: «Его новые книги писались как русский декамерон, вошедшие в них рассказы о любви полны молодой фантазией изобретательного автора, грустного лирика и точного психолога, умевшего спрятать глубоко в тексте неистребимую усмешку».

Тонкая ирония и кучаевская усмешка были неистребимыми не только в текстах, и не только тогда, когда фортуна не отворачивалась от него. Они были его сутью, фирменным знаком его неординарности.

Ко времени отъезда из Москвы в Германию Кучаев был уже значительной величиной в литературе. Из любимого автора 16 полосы Литгазеты он быстро вырос в известного писателя-сатирика, работал с молодыми, вёл свой семинар, писал пьесы и киносценарии, и стал мэтром, в том числе и для меня. Его учениками были известные уже тогда в России и за её рубежами писатели. Но его дорога в эмиграции отнюдь не была усыпана розами. Мне кажется, что его читателям и почитателям следует знать правду и об этом, самом трудном периоде его жизни.

Родители Андрея умерли давно, сестра погибла в горах ещё в юные годы, жена, художница, с которой он приехал из России и которую очень любил, человек близкий ему по художественному восприятию мира (он и сам неплохо рисовал), вскоре скончалась в Германии от тяжелой болезни, а после смерти единственного сына в Москве, в конце 2008 года, из родных не осталось совсем никого.

Несмотря на почти затворнический образ жизни, который Андрей вел после смерти жены, он был открыт для общения. Иногда он выбирался ко мне в Берлин, несколько раз в последние годы мы встречались в Москве, но, в основном, общение, конечно, было телефонным. Мы беседовали с ним часами, и он был единственным собеседником, который меня никогда не утомлял. Масштабы его многогранной эрудиции поражали. Она ощущалась во всём, что он говорил

и писал. Меня покоряла ещё и его убеждённости в предназначении, несмотря на удары судьбы (он оставил свою перспективную инженерную специальность ради литературы).

«Ничего не предвещало беды» было написано в одном из некрологов. Предвещало, ещё как предвещало. Андрей давно задышался здесь в переносном и прямом смысле.

В периодике его печатали мало. Критика в этот тяжелый период жизни практически замалчивала. На издание своих книг не было денег. Даже за публикации в журналах он практически не получал гонораров, зачастую приходилось ещё и доплачивать, а ведь нужны были и средства для поездок на родину, к больному сыну. Но он продолжал работать, много работать.

– Пусть не сейчас, пусть после смерти, но опубликуют, не в сюиминутной популярности счастье, – уверял он меня, – наш скорбный труд не пропадёт.

Он оказался прав, но не совсем. Новые книги Андрея Кучаева вышли в свет ещё до его кончины, и он успел их увидеть. Это и «Тысяча и один афоризм на ночь», роман в рассказах «Похождения трупа», роман «Секс вокруг часов» (2009) и другие.

Возможность выхода к широкой читательской аудитории писателя Кучаева в период эмиграции, на мой взгляд, значительно уступала масштабу его дарования. И причина была не только в том, что он покинул Россию, хотя уехать – это уже отчасти умереть.

Болгарский журнал «Факел» к своему 25-летию опубликовал интервью, взятое у Андрея Кучаева. Вот фрагмент из этого интервью: «В своём эссе о вас А. Королев пишет, что он «ваш ученик». Но у него уже четыре романа, вышедших на болгарском, а у вас только первый. У кого и чему учились вы? В современной русской литературе вы довольно одинокое явление. Есть ли у вас ещё ученики?»

Есть ещё, есть, и очень известные, и в России и за её пределами, много публикующиеся, выступающие на радио и на телевидении. Достаточно назвать Александра Кабакова, Игоря Иртеньева, Виктора Шендеровича, Атура Ио.

Его любимый писатель Роберт Музиль высказал мысль об «онтологическом парадоксе»: писателю для того, чтобы жить, нужно умереть. Но совсем не радуется, что Андрей уже успел подтвердить этот, хоть, по большому счёту, и верный, но печальный парадокс.

Повторю не новую мысль, что когда человек уходит от нас, это не он умирает, это мы все умираем в его сознании, а он живёт с нами до тех пор, пока его помнят. Наша живая память – это и есть сегодня бессмертие Андрея Кучаева, которого, безусловно, будут помнить, и не просто помнить, а издавать и читать.

Борис Замятин

невыносимыми при чрезмерно частом появлении тех и других перед взором души. Это не касалось, правда, музыки. Не один поклонник был отвергнут Джульеттой из-за того, что каждый день был таким же, как накануне.

Надо сказать, что поклонники у безнадежно больной девушки не переводились. Богатство отца сделало её завидной невестой. Догадывалась ли она о причинах особо горестных вздохов, исторгнутых из груди очередного претендента? Догадывалась. Но более её угнетало однообразие. Манера вздыхать была убийственно однообразна. Работы закипели. Трёхэтажный дворец быстро обретал формы и скоро был подведён под крышу. Верхние комнаты ещё доделывались, а нижние были уже обитаемы. Джульетта переехала сразу же, как только была приготовлена первая, угловая комната в первом этаже. Службы располагались в отдельном здании. Медицинский корпус тоже стоял особняком. Восходы в Синопской бухте великолепны. Солнце затепливает сначала снеговые вершины гор на далеком горизонте. Их розовые сахарные зубцы парят в небе, как столпы, на которых покоится фронтон райских врат. Видеть эту картину может тот, кто живёт окнами на север, в противоположную морю сторону. Когда же солнце выставляет свой ещё не разогретый край из-за темной по-ночному кромки горизонта, так что на солнце совсем не больно смотреть, алые блики вдруг протягиваются из далекого далёка до самых окон на южной стороне, – фасад дворца смотрит на море. В первые же два дня Джульетта была очарована возможностью видеть две картины рассвета. Потом она стала улавливать и новые оттенки восхода, появляющиеся с переменной точки наблюдения. С переходом всё в новую и новую комнату. Из одной комнаты картину украшала на японский манер ветка кедра. Из другой – тёмнозелёного с синим сукна – кипарис перечеркивает стрелой правое поле пейзажа. В третьей – утёс выплывал из утреннего тумана, а на нём, как на ладони, угадывалась старинная часовня... Тем временем строительство было закончено, и все комнаты ждали свою госпожу. Каждая в свой срок.

Девушка ожила. Она ложилась после захода солнца, предвкушая новую картину восхода, словно каждое утро ей предстояло воскресать вместе с солнцем. Среди врачей, которые следили за изменениями в состоянии Джульетты, нередко были замены и перестановки. Отец девушки ревностно контролировал их рвение и добросовестность, а заодно изредка приглашал совсем новых по рекомендациям своих сведущих друзей. Так появился молодой, но уже числившийся в светилах врач, грек по происхождению, Ганимедис по имени.

Этот врач, худой и быстро зарастающий черной щетиной, был единственным, кто никогда не улыбался, осматривая Джульетту. Может быть поэтому молодая девушка и влюбилась в него. С молодыми девушками это бывает. Особенно если они туберкулёзницы. Особенно если они идут на поправку.

Джульетта поначалу думала, что молодой врач быстро наскучит ей, как это

бывало прежде. Его характерная внешность, казалось бы, должна была скорее наскучить больной, чем это обычно бывало. Но выходило иначе. Теперь девушка, ложась спать, предвкушала не только новую картину из окна, но и новую встречу с вечно небритым греком Ганимедисом. Джульетта никогда бы не решилась ещё раз вмешаться в дела отца и в особенности в его отношения с персоналом, поэтому она со страхом ожидала каждого утра, боясь, что подозрительный отец уволит новичка. Но опасения её были напрасны – отец связывал улучшение в состоянии дочери как раз с назначением новым её куратором молодого грека. Теперь в девушке боролись каждый день два чувства: жажда обновления пейзажа за окном и ещё более острое желание неизменности своей жизни, своего чувства к молодому греку. Необходимость видеть его на прежнем месте с его недовольным и небритым лицом становилась всё более насущной. Перемены здесь она страшилась, как никогда и ничего. Исполдволь она стала противиться и жажде обновления пейзажа за окном. Шло время. Румянец девушки был уже не такой лихорадочный, а бледность слегка позолотил загар. Наступило время осенних штормов, и на пляж, белый от соли и сухих водорослей, серо-сизый накат всё чаще набрасывался со сварливой злобой, обещая настоящую бурю. Приближалась зима, не суровая в здешних местах, а скорее скучная. Приближался и тот день, когда больной девушке предстояло переселиться в последнюю комнату в этом году. Чтобы начать новый цикл и лечения и движения по кругу комнат дома-дворца. Она и страшилась этого рокового дня, ибо с ужасом думала о том, как жизнь её будет повторением предыдущей день за днём. Но она и торопила его, так как он обещал ей ещё год жизни и год свиданий с Ганимедисом. У неё была превосходная память, и порой ей казалось, что она не вынесет повторений так хорошо ей врезавшихся в память пейзажей в раме окна. С другой стороны, она каждый день не могла избавиться от мысли, что видит врача в последний раз. Начнись новый год, казалось ей, с ним придёт уверенность, что грек с блестящими синими глазами поверх синей щетины останется навсегда. В конце концов тяга к предмету любви победила. Она считала дни, когда круг времени начнёт своё обращение вторично. И день тот наступил. А потом наступила и ночь. Наутро она должна была вернуться в комнату, которая когда-то была первой. Она готовилась к смерти и вечной любви одновременно. Бедное сердце едва не выскакивало из груди. Такие волнения ей были строго-настроено запрещены врачами. Но она ошибалась. Она забыла про комнату, расположенную в башенке замка, на самом верху – она была построена на случай високосного года, а уходящий год был именно таковым. Утром за ней зашел отец и напомнил ей об оставшемся лишнем дне. Он взял дочь за руку и повел её наверх, в комнату на самом верху. Отсюда открывался круговой вид, панорама на все стороны света. То, что она видела частями, складывалось здесь в цельную картину. Горы, море, парк. Боль-

ше не нужно было менять комнаты. И больше ей не хотелось видеть врача-грека. Всё кончилось. Ночью она умерла.

Я видел дворец и парк ещё в семидесятых. Не знаю, уцелели ли они после войны Абхазии, где находится усадьба, с Грузией, что считает эту землю своей...

Андрей Кучаев



Андрей Кучаев – писатель-юморист, прозаик, драматург, сценарист. Член Союза писателей Москвы.

Родился в 1939 году в Москве. Окончил

Московский электротехнический институт связи, Высшие сценарные курсы. Преподавал в Новом гуманитарном университете.

Начал печататься с 1970 года. Автор несколь-

ких романов, пяти юмористических книг, четырёх пьес, двух киносценариев и многочисленных журнальных публикаций в России и Германии.

Лауреат премии «Золотой телёнок» Литературной газеты, премии им. Н.Островского.

С 1995 жил в Германии в городе Мюльхайм-на-Руре.



Александр Ткаченко
1945 - 2007

Об Александре Ткаченко

Саша Ткаченко был душой Русского ПЕН-клуба, его напор и искромётная энергия заражали всех вокруг, это был человек-праздник, человек-фейерверк. Наверное, секрет его обаяния крылся в смеси мужского шарма, щедрой натуры, бесконечной доброты.

С его безвременным уходом в декабре 2007 года ПЕН осиротел.

Вот скупые строчки его биографии: родился в Крыму, в Симферополе, был профессиональным футболистом, закончил играть в 25 лет из-за травмы. Потом Крымский университет и стихи, первую подборку он опубликовал в 1975 г. в журнале «Юность», а через два года вступил в Союз писателей СССР. В 1983-м закончил Высшие Литературные курсы в Москве. С тех пор вышло более 10 стихотворных сборников и несколько книг прозы, среди которых имевшие огромный успех «Футбол» и книга о крымчаках «Сон крымчака, или Оторванная земля». Эта книга стала главной в его жизни. В лице Ткаченко, крымчака по матери, этот уходящий народ получил своего сказителя. Его этнографическое, историософское сочинение стало памятником ему самому.

Все эти годы Саша был директором (с 1994 г.), а затем и вице-президентом Русского ПЕН-центра и активно занимался правозащитной деятельностью, был членом комитета по правам человека при правительстве Москвы. В роли общественного защитника участвовал во многих процессах над писателями и журналистами, особенно тяжело далось ему нашумевшее дело Григория Пасько. Саша был правозащитником по призванию, ему было дело до всех. Он успевал всё и работал на износ. И сердце не выдержало. Не помог и кардиостимулятор...

Екатерина Турчанинова

столько форм обретая
сколько губы её сумеют
припасть к простейшему изобретению
древних – прутик с внутренней пустотой
и отверстий по количеству
пальцев и ещё –
сколько сердце захочет.



Турчанинова Екатерина – переводчик художественной литературы с немецкого, член Союза писателей Москвы. Заместитель директора Русского ПЕН-центра. Родилась в Красноярске в 1950 году. Окончила Московский институт иностранных языков. Работала ст. редактором в журнале «Советская литература на иностранных языках».

Первая публикация – 1992год. Перевела более двух десятков произведений немецких и австрийских авторов, таких как Эрих Кестнер, Хайнц Конзалик, Герта Мюллер (первая публикация на русском языке Нобелевского лауреата 2009 года), Йоханнес Зиммель, Томас Брецина, Буркхард Шпиннен и др. Живёт в Москве.



